

1913 год

Каждое утро Михаил приносил Женечку на пляж под плетённый квадратный тент со сгибом и сам садился на маленькую скамеечку у её ног.

Доктор Дузе, постоянно их сопровождавший, давал душеполезные советы и доставал из корзины укутанную в пуховый платок бутылку тёплого козьего молока, которую Женечка немедленно должна была выпить.

Доктор уходил, поплевав тыквенных семечек, а к полудню являлся новый знакомый Михаила, Павел Стромьинин. У него была задача Женечку веселить и носить ей из палатки со сладостями миндаль, моченный в меду, и янтарный инжир на сахарно-белой хрустящей салфеточке. Стромьинин красиво и ловко шутил, был молод и горяч, он заряжал тусклые дни Женечки и Михаила.

Порою, когда бывали безветренные вечера, Стромьинин заходил в гостиницу «Лондон» к Михаилу и брал Женечку прогуляться по набережной медленным шагом.

Сегодня они из-за ветра вышли поздно, на набережной Женечкин зонтик смешно вывернуло, и она засмеялась почти забытым уже смехом.

— Господи, как хорошо, и это только ветер! А мне уже намного лучше! Вот бы съездить до Ореанды!— слабо воскликнула Женечка.

— Обязательно соспутешествуем, дорогая,— сказал Михаил, поднял дочь и понёс её к берегу, шурша галькой.

Стромьинин прибежал с графинчиком коньяка, обнял Михаила и поцеловал Женечку в невесомую ручку.

— Как вы сегодня хороши, мамзель...— улыбнулся пышущий молодостью Стромьинин.— Так и вынудите меня: не дожидаясь осени, зашло вам сватов, и пусть только ваш папенька откажет...—

— Где стол был яств... там гроб стоит...— улыбнулась Женечка бесцветными губами.— Я уже скорее с Христом обручусь, Павел Леонардович.

Михаил метнул на Стромьинина дикий взгляд.— Кто там нынче в кабарятне вашей поёт?— спросил он густым голосом.— Слышал, мадам Адель де Барс какая-то приехала из Москвы. Танцует группа лиловых лилий, а слышится и видится это смешно.

— Ну! Тут, в Ялте, только смеяться!— хохотнул Стромьинин.— Чего ещё отдыхающим надо? Ручного медведя в бубенцах, мыльные пузыри с кошку ростом и танцы лиловых лилий. Пошлость и дикость для нас, правда?

— Ой, рассмеюсь, не надо!— взмолилась Женечка, утопая в подушечках.— Сегодня и вечерок какой-то добрый.

Действительно, в начале августа пошли совсем другие запахи с запада. Пахло зелёной водорослью— камкой, битыми медузами, непросохшими баркасами рыбаков и залежалой чешуёй.

— Перед штормом много было рыбы,— сказал задумчиво Михаил.

— Ну да, хорошо бы тут ещё и цену на неё скинули,— добавил Стромьинин.

— Надо к рыбакам идти, там рыба копеечная и вся с икрой. Кефаль, белужка из Кетерлеза... с азовских ловель.

— Сейчас нет с икрой, надо сентября дожидаться. «Бря»— значит, если есть в месяце это «бря», вот и икра тогда есть в рыбе.

Михаил глянул на бледное море, лежащее в мёртвом штиле. Губастые волны тихонько пощёптывали по гальке, раскрашенной нарощим на ней морским мхом. Дальняя сторона моря из глубокой сини переходила в невесомую молочную бирюзу, и солнце, вышедшее из вертикали, мерцало на почти осязаемом ласковом шёлке.

— Как хорошо рисует Бог, если у Него такой вкус на цвета и оттенки,— сказала Женечка.— Кто из нас смог бы это передать одной только сменой строения?

Стромьинин смотрел на Женечку, на её молочно-белое лицо с голубоватыми тенями, которые только усиливались от присутствия морских красок.

Он смотрел и на Михаила, огромного и усатого атлета с несмываемым простонародным загаром, в дорогой шёлковой светлой рубашке, с цепью хронографа, в роскошной, подогнанной под его фигуру жилетке с серебряными рисками, на его дорогие туфли из телячьей кожи.

Почему иногда судьба не всем дарит нужного человека? Стромьинин в меру своего неглубокого

ума не хотел об этом думать, а мог только сожалеть. Из его небольшой двадцатипятилетней жизни можно было бы решить, что он резонёр, но он сам себя таковым не считал.

Павел Стромьнин постоянно задавался вопросом: чувствуют ли вину лицемерные люди? Ведь они лгут дуракам... А это страшное преступление против совести. Недавно появившийся здесь Михаил Величалин был сосредоточен лишь на дочери и её обострившейся болезни, для Стромьнина он был ценным человеком.

Сегодняшнее утро дышало покоем. Яркие слюдяные камушки на дне перекатывались прибоем, и Стромьнин с пирса смотрел на чашечки медуз, придерживая Женечку в кружевном снежном платье. Она держала его слабо и совсем не по-человечески, а он, наблюдая за её точёной бледной красотой из германских сказаний, вздыхал про себя и сдерживал внутри слезу о том, что никогда этому девичеству не вырасти в жаркую, полную и повелительную женственность.

Тут много было на побережье таких холодных догорающих мотыльков, и Женечка была одной из них.

Стромьнин любил мотыльков жалеть, а иногда и получал от них другое утешение.

Женечка вглядывалась в волнение дна, мириады лесистых водных трав, густо лежащих и приросших к донным валунам.

— А если бы поплавать между ними, как было бы славно! Холодна вода? — спрашивала она, вскидывая круглые глаза, глубокие, как колодцы, на Стромьнина.

Тот крутил желтоватый набриолиненный ус и важно пожимал плечами.

— Для вас холодна, но есть и другие тут, кто ныряет за жемчужницами. Хотя их к нашему времени вовсе извели. Но зато на пляжи выбрасывается уйма всякого стеклышка и цветного камня. Они, источённые волнами, похожи на высыпанные драгоценности из шапки Мономаха, не хватает только среди них голых жемчужин без раковинок. — Как красиво вы говорите... — шептала Женечка. — А и меня, пожалуйста, научите всё это видеть. — Что там видеть... Вот приглядитесь, когда будем гулять, и отличите серый кварц и гальку от другого стекла и камня.

— Идёмте же, я присяду, а то папенька закис там со скуки.

Стромьнин подал Женечке руку в перчатке, и она положила на сгиб его плеча свою не согревающуюся ладонь.

Михаил молча курил. Из лабазика официант принёс ему два лафитника водки и ледяную севрюжину с жирными оранжевыми слезами на подшкурке.

Хорошо устроенный ялтинский пляж сопровождали визг и веселье отдыхающих ребятешек и чопорные оклики их строгих надсмотрщиц.

По волнам катались бакланы, вертя белыми головами, и суетливые чайки, напуганные людьми. — Съешь кусочек; доктор говорит, тебе нужно рыбку... — сказал Михаил, поворачиваясь к Женечке с тарелкой и серебряной ложечкой. — Нет, не хочется, папá. Я устала гулять. Дождусь, как ты поешь, и понеси меня домой.

Михаил кивнул головой, искоса глянул на Стромьнина и встал, оставив тарелку подле Женечки.

Стромьнин и Михаил отошли в сторону, чтобы ветер дул через них. Они подошли к волнам, и, оступившись с берега, Михаил намочил туфли.

— Ох, я неловкий... — сказал он, отскакивая от волн. — А раньше бы искупался.

— Ну и искупался бы.

— Стыдно, что она тут.

— Вроде бы говорит, что ей лучше...

Михаил снова сверляще глянул на Стромьнина. — Павел, я тебя очень и очень прошу... Гуляй с ней, я в долгу не останусь. Хотя бы так пусть она набирается воздуха.

На его лицо скользнул порыв ветра, и Михаил перехватил дыхание.

— Дузе сказал, что мы не должны вскорости ехать отсюда, а я и готов тут быть, хоть сколько. Готов, пока она...

— Понимаю, — потирая папиросу, сказал Стромьнин. — Тяжко тебе; я говорил, давай тебя познакомлю...

— Ну что ты! — испуганно воскликнул Михаил.

— Ничего бы с тобой не было. Вам, может, тут ещё год жить, а она поправится, и тогда...

— Эх, Павел, твои слова бы Богу в уши!

Михаил обернулся на Женечку, сидящую в кресле среди серого берега. Она выглядела как кружевная рождественская птичка на тёмной полсти еловых ветвей.

— У меня ничего нет, кроме неё. И ты уже думай, что говоришь... Видишь ли, она понимает своё состояние, а ты лезешь со своими шутками про свадьбу. Ей бы выкарабкаться. Она моё сокровище.

Печальные страницы отцовского опыта Михаила Емельяновича Величалина все уместались в этой фразе.

Он отошёл от воды и словно вернулся в глубокую задумчивость своего неполного бытия.

Он подошёл к Женечке, поднял и подобрал её платье под руку и, как малого ребёнка, понёс её к ступеням, ведущим на своды набережной.

Стромьнин от воды молча глядел на Михаила, его мощную спину, перехваченную ремешком на талии, и на беспомощно колеблемое платье Женечки.

В самой своей молодости купец Михаил Величалин остался сиротой и единственным владельцем рудного завода под Калугой. Там, где по одну сторону растёт можжевельник, а по другую березняк,

наюру, стояла их усадьба, купленная у отъехавшего на родину, в Германию, дворянина Ханса фон Шулле. С усадьбой в руки отца Величалина перешло огромное хозяйство и даже домашний доктор Дузе. Тут быстро на рудном деле и Алексинских карьерах пошло в гору и купеческое дело, принёсшее уже совершеннолетнему Михаилу первый миллион денег.

Мать и отец его умерли от какой-то неизвестной заразы в путешествии по Италии. Единственным наследником Михаил жил совсем один и употребил одиночество на познание прелестей жизни.

В Москве купил огромный особняк на Новой Басманной, там и зажил.

Очень скоро и привёл туда хозяйку, Меланью Филипповну, обвенчавшись с ней у Петра и Павла. Хотя она и была простого происхождения, но красоты разящей.

Встретился же с нею Михаил Емельянович в кабаке под Ивановской горкой и в ту же минуту увёз её к себе. Меланья Филипповна пела там, и по голосу Михаил Емельянович опознал счастье своей жизни. А более — по той песне, что певала его мать у колыбели. «Вьюн над водой» называлась она.

Так песней и вошла Меланья Филипповна в большую дом и большую бухгалтерию молодого мужа.

Он по части работы был безумен и постоянно отлучался на заводы и в другие усадьбы.

Меланья Филипповна мучилась сиднем дома. И как только родила Женечку, стала тоже ездить с мужем по делам, во всё вникая и всё расспрашивая.

Он ничего плохого в том не видел, сообразив, что жена, вероятно, хочет помогать ему во всех его делах.

Но, однажды оставив её в усадьбе под Калугой и спешно уехав в Москву, Михаил Емельянович никак не предвидел, что его жена не пожелает вернуться.

А вернуться она не пожелала, стала жить с приказчиком, о чём Михаил Емельянович узнал на трёхлетие дочери и от чего впал в тягостную печаль.

Сперва он хотел расстаться с жизнью и перебирал все способы. Потом, обратив внимание на дочь, которая в три года осталась бы сиротой, решил разойтись с Меланьей полюбовно и подал в Священный Синод прошение на развод. Жену он наказывать не стал, приказчика тоже не уволил. Но развод, после тягот и умирений, на который являлась сама Меланья и твердила, что-де умирение невозможно, по причине её несправности и обострившейся болезни.

Пожалел Синод и Михаила Емельяновича, засылавшего туда немалые средства для более скорого решения дела и представлявшего разные доказательства для оправдания прерванных отношений.

Наконец, в пятилетие Женечки дан был и развод.

К тому времени Меланья Филипповна родила уже двух детей приказчику, но оба ребёнка умерли, а сразу после развода — и она.

Только тогда Михаил Емельянович, хоть и горевший, вздохнул и отмер.

Только тогда он попробовал как-то заново жить.

Женечка в одиннадцать лет внезапно вытянулась, выросла, в тринадцать же лет люто заболела коклюшем.

После уже началась скоротечная её лёгочная болезнь.

Вся жизнь Михаила Емельяновича безотрывно стала принадлежать ей. И он не думал о другой жизни.

О смерти матери он ей долго не говорил, а только объяснял, что матушка поехала за границы лечиться от такой же болезни.

Письма ему слали по требованию двоюродные сёстры, жившие в Потсдаме. По одному за три месяца.

— Хоть бы карточку прислала мне матушка... — жаловалась Женечка, жалея, что нет у неё даже маленького изображения её.

И тогда Михаил Емельянович пошёл на бульвар и, найдя там подходящую девушку, одел её в магазине готового платья на Кузнецком и свёл в фотографическое ателье.

Через две недели он представил Женечке карточку, на которой не было надписи, где она сделана.

А на обратной стороне было писано: дорогой дочери от любящей её матушки, скучающей очень на водах.

— Почему же мы не можем к ней поехать? — разволновалась Женечка и покраснела.

С того волнения болезнь её впала в обострение, а Михаил Емельянович не знал, что говорить.

Он оставил на управляющих весь непосильный корпус дел, которые вёл самолично, и по настоянию доктора Дузе повёз Женечку в Крым. — А почему не на чешские и германские воды? — спрашивала втихомолку Женечка. — Ведь мама там?

— Ваше здоровье не позволит вам так далеко ехать, — отвечал Дузе. — Скоро ваша матушка вернётся.

В дороге он сознался Женечке о смерти матери и взял на себя все последствия этого, больше жалея Михаила Емельяновича.

До Крыма Женечку довезли с трудом. Болезнь оказалась наследственной по материнской линии. К тому же от расстройства ей стало хуже.

Величалин с дочерью заняли апартаменты в гостинице «Лондон», а доктор Дузе, долговязый пятидесятилетний старик, договорился жить неподалёку, у друга, доктора Виноградова, в трёх минутах пешком от гостиницы.

Он наблюдал состояние Женечки, выгуливал её в Массандру, к императорскому дворцу, где они подолгу сидели на широких скамьях в можжевеловой роще и читали Мериме, которого Величалин не велел держать дома.

Женечка почти смирилась с тем, что ей придётся тут жить так долго. Её успокаивали душистый воздух, аромат нагретой хвои чёрных целебных сосен и чинаров, далёкая индиговая, тянущая и сосущая душу синева открытого моря.

— Жаль, что я никогда не увижу Константинополя,— вздыхала Женечка.— Говорят, что можно уже отсюда дойти за трое-четыре суток до турецкого берега. Я могла бы попробовать пойти с матросами на баркасе.

— Ну! Женщина на корабле— смерть всему экипажу!— смеялся доктор Дузе.— Вот выздоровеете, ваш отец к этому всякое усилие прилагает, и оно не может остаться пустым,— тогда и Константинополь увидите, и другие полуденные страны.— Мне кажется, что мама там, она оттуда мне что-то напевает, и я горю душой туда к ней полететь...— говорила Женечка, и крупные чистые слёзы навёртывались у неё на глазах и висли на ресницах, загнутых до бровей.

Если бы была ей судьба вырасти и стать невестой, наследовать величалинское состояние и привести в дом умного мужа, она была бы красивейшей купеческой невестой на Москве. Ей завидовали многие и тем брали на душу грех, а болезнь точила Женечку уже очевидно...

Прогулявшись с доктором, Женечка ложилась спать днём и спала до полдника. После она читала у окна, или просила вынести ей кресло на балкон, или шла в просторный холл отеля, где был устроен небольшой круглый бассейн внизу, с зеркальными карпами, которые, поворачиваясь бочками, бликовали солнцем и посверкивали в белой мраморной чаше. Казалось, что невидимые руки пересыпают золотую фольгу, порванную на небрежные кусочки, и Женечка могла любоваться на это зрелище часами.

Михаил тяготился вынужденным отдыхом. Много лет он работал и занимал ум расчётами и замыслами, а тут остался на свободе. Он постоянно бегал на почту и телеграф и отправлял в заводы и усадьбы свои списки дел и распоряжений. Когда с почты приходил посыльный, чуть ли не ждал его около швейцара и сразу вскакивал, когда входил человек в форменной одежде или письмоносец с ранцем.

С Женечкой он прогуливался один раз в день, вечером. Обычно по бульвару, или в omnibusе они катались и молчали вместе.

Величалин, имея промышленный характер и живую натуру, к чтению и к искусствам был совершенно глух. Он никогда ничего не читал, кроме писем и деловых документов, касающихся его

состояния. Он не знал писателей, актёров, не выносил громкую музыку. Но любил народные песни с их тёмной вековой тоской и заползающей в зауше негой, с первобытным чувством покоя.

В усадьбе под Калугой он нарочно вызывал из ближнего села молодых баб, о которых шла слава как о поющих старинные песни, и заслушивался их голосами.

Здесь, в Крыму, он несколько раз слышал татарские песни под хавал и сантр из переплетения улочек с чьего-то двора, перед закатом как-то раз или два уловил тянущую песнь зурны из-за холмов, с далёкой яйлы,— наверное, то были пастухи, чью музыку распространили идущий с суши ветер и вечерняя тишь.

Один Величалин почти не ходил на улицу. Он с последнего времени не выносил одиночества, которое его основательно загрызало без дела.

В первую неделю они с Женечкой на пляже познакомились со Стромьинным.

Михаил не понял вообще, что за человек Стромьинин и почему он так легко подошёл к ним с початой бутылкой чёрного новосветского вина и соломенной конфетницей.

Стромьинин как будто бы тоже скучал. Когда-то он работал на бирже, корреспондентом в газете, переписчиком, наборщиком текста в типографии и стенографом. Сейчас, как он объяснил, он работал «на себя», а вот что это значило, не сказал.

Родом он происходил из разночинцев. Величалин приглядывался и так, и эдак и наконец понял, что симпатичный молодой человек теперь промышляет развлечением грустных отдыхающих.

И отчасти он был прав, да только Михаил был вовсе не мужем Женечки, как подумал Стромьинин, и совсем не хотел, чтобы кто-то вился кругом и искал ему досуговых приключений.

Но, поговорив по душам, Стромьинин растеплил Михаила Емельяновича и очень расположил к себе Женечку, магнетически смотревшую на нового знакомого.

Стромьинин был строен и красив, одет изящно и тонко, весь прилизан с головы до пят с большим тщанием к аккуратности. Даже шёлковый платочек был безупречно выглажен и имел на себе вензель «ПЛС»— Павел Леонардович Стромьинин. Он владел уютным вкрадчивым голосом, золотыми австрийскими усиками и абсолютным портретным сходством с князем Воронцовым со знаменитой картины кисти Доу.

Величалин рядом с новым приятелем выглядел как цирковой борец, и можно было представить Стромьинина его протезе.

Женечка сразу прониклась к Стромьинину, всякий раз при встрече улыбалась, показывая полупрозрачные, истончённые сладостями мелкие зубки, но грустные её глаза вонзались в душу Стромьинина хуже булавок.

Но Стромынин не искал никакого чувства, даже более того—им двигал некий расчёт, хотя Величалин и понял это и тут же, увидав интерес Женечки к общению со Стромыниным, предложил ему поступить к нему на какую-нибудь работу—например, писать письма и носить их на почту.

За несколько дней Стромынин сделал себе добрую репутацию и получил доверие Величалина, Дузе и Женечки.

Теперь он мог бы ещё более расстараться.

Стромынин прохаживался по комнатке, а Михаил сидел в лучах солнца, упавших из окон.

Он смотрел перед собой и был как спящий.

— Но ты посуди сам: сколько можешь ты без женщины и вообще без любви? Я же не прошу тебя сразу вот так жениться. Ты посмотри на цель своего обожания, на её достоинства.

— Что ты, Павел, ну разве я могу сейчас? Когда Женечка...

Михаил закрыл лицо огромными руками, и что-то похожее на звук стремглав летящего голубя вырвалось из-под них.

— Тут так хорошо, гуляй себе и наслаждайся, а Женечке ничего не будет плохого, она выздоровеет, ты же знаешь, знаешь это!

— Ах, Павел, сюда за хорошим не приезжают, и она это самое знает и готова уже к самому дурному. Сейчас я сижу тут, теряю время, а ей вполне тревожно без меня.

— Да что там!

— Женечка так любит гулять в роще у Воронцова, но подняться туда ей ещё самой тяжело. Мы с Дузе носим её уже как неделю.

— Да? Боже мой, это очень обидно,—смутился Стромынин.

— Не то слово! Ещё более обидно, что не мне, а ей придётся... придётся...

И в горле Михаила что-то жалобно скрипнуло. Он щепотью убрал слёзы и отвернулся в окно, где густое варево моря отражало и беспокоило солнечную путину, идущую на закат.

— Это невыносимо,—сказал Михаил, обтерев лицо рукавом.— У меня всё есть. Только нет радости. Я устал, устал без радости. Я больше без неё... не могу.

Стромынин положил ладони на мощные плечи Михаила и сжал их.

— Сходи со мною, хотя бы для интереса.

— А что я скажу... ей?..

— Скажи, что я заболел и меня надо навестить. А с ней побудет Дузе.

— Хорошо, ладно, Павел... Твоя взяла. Когда пойдём?!

— Экой ты скорый! Я договорюсь с одной... м-м-м... Михаил, я тебя представляю ей.

— Что? Девке?

— Почему это так сразу—девке? Эта мадемуазель знает четыре языка, между прочим; тебя только с ней можно знакомить, она только достойна.

Михаил вдруг раскатисто захохотал.

— Смейся, смейся. Знаю, что ты всё опошишь, а потом будешь ведь жалеть! Ведь женщина эта—энigma!

— Что?! Как?

— Энигма, говорю. Загадка! Всякая женщина загадка, но эта!..

— Бог с тобой, мне хватит энигмов. Я их боюсь, дай мне бабу просто хорошую, пусть даже не красавицу, но добрую.

— Ты, Мишель, несносен.

— Я ваших не знаю этих слов-то.

Стромынин хорошо знал округу. Он знал, где и что, кто и с кем. Предложение его Михаилу познакомиться с отдыхающими дамами сперва натолкнулось на неодолимый пафос.

— Что? Я? С бабьём?—рывкнул Михаил Емельянович.— Да у меня Женечка! Скажи, а ты мог бы?—обратился он к Стромынину, отвернувшись от него.

— Не знаю, лгать не буду.

Но вот поздно вечером, дождавшись, как Женечка уснёт, и оставив её под наблюдением Дузе, Михаил вышел из номера. Стромынин ждал его на плюшевом диване в холле отеля.

Когда Михаил, причёсанный в пробор, в строгом красивом костюме и невыносимо скрипучих малиновых ботинках, спустился с каменной лестницы, покручивая трость, Стромынин чуть было не потерял дар речи.

— Лемонграсс и пачули...— улыбнулся он, обняв хав Михаила Емельяновича.— Как благородный пахнешь, ваш-ство...

Михаил улыбнулся безупречным рядом целых и выбеленных порошками зубов.

— Я сегодня укрепил надежду от доктора Дузе, что Женечке на пользу здешний смолистый воздух, потому я и весел. Можешь вести меня.

Они спустились вниз по набережной к молу, раскурили трубки, полюбовались на белые яхты и проходящие мимо рыбацьи баркасы и барки с полуспущенными в воду порожними сетями. От моря шёл густой запах соли и водяной зелени.

Мол был от шторма прикрыт грядой остроугольных камней, и робкие волны не могли победить этот мощный корпус, бились о них и, урча в промоинах, утаскивались обратно.

— Я покажу тебе одну женщину, она живёт, конечно, не здесь, но прогуливается здесь. Мне бы хотелось, чтобы ты обратил на неё внимание сегодня. А завтра мы к ней сходим в гости.

Михаил дрогнул.

— А что? Почему это завтра? Вдруг завтра я передумаю? Идём сегодня! Или мы должны предупредить её?

Стромынин сплюнул в камни.

— Мишель, ты как дикий или одичал! Где ты видел такой саваж? Чтобы к женщине, к любой... приходить визит делать без преподготовки?

— Да, это ты правильно сказал.

— Ну вот! Я полагаю, что ты одичал и тебе надо очнуться.

— А я полагаю, что надо идти сей же час и ловить её невзначай, так вернее будет. В другой раз я передумаю, может быть,— грозно сказал Михаил, насупив брови.

В сторону Поликуровского холма Михаил и Стромынин дошли быстрым шагом.

Потом собрался дождь, и им пришлось поскорее бежать, тем более что южная тьма, что стучается всегда быстро и воровски, во время ненастья ещё труднее одолима. Михаил всё время пыхтел с непривычки, идя в гору, пока Стромынин не завернул в какой-то узкий проулок, и следом ещё один, и ещё один, где оглушительно лаяли собаки и кто-то лениво бранился за запертыми окнами.

Запах прогретого камня и текучий аромат рощ проникали и сюда и будоражили обоняние.

Михаил растерялся.

— Ну что ты как маленький! — прикрикнул Стромынин, вихляя по каменистым дорожкам, и вдруг затолкнул Михаила в калитку.

Михаил напрягся, резко остановился и увидел два освещённых окна в глубине крохотного двора, заросшего по обеим сторонам от дорожки кустиками душиной маттиолы.

В окнах кто-то приятно смеялся женским смехом. Принадлежал он совсем молодым особам.

Михаил сделал попытку ступить назад, но Стромынин легонько подтолкнул его вперёд.

— Ничего, Мишель, всем бывает страшно! Но не тут.

Из маленького двухэтажного особняка лился нежный свет ламп.

Лицо Михаила покрылось холодной испариной. — Пфу... — сказал он Стромынину, идя к завитому плющом крыльцу. — Ты меня доведёшь до кондратия.

— Нет, тут нет Кондратия, Мишель. Тут есть только милые барышни...

Их, кажется, тоже увидали.

— Паша, Паша! Это никак ты? — спросил лёгкий молодой голос из окна. — И не один?

— Да ясно, куда уж! — ответил Стромынин. — Вот друг мой!

— Не называй моего имени! — зашипел Михаил и схватил Стромынина за рукав матерчатой блузы. — Просто Мишель, и всё.

Они вошли в маленькую прихожую, освещённую электричеством, старик-швейцар принял трость и шляпы.

— Вас ожидает прекрасная встреча, — бросил Стромынин и повёл Михаила за собой в полумрак коридора, заканчивавшегося довольно большой и светлой разряженной залой.

— Дожидают... они всех только вас и ждут, — крикнул швейцар им вслед.

В доме было прибрано. Всюду пахло сладкими духами и цветами, в огромном количестве расставленными в вазах, на поставках, на комодах и столах.

Тут, кажется, жили только прекрасные существа, и одними из них были цветы, а другими — севрские статуэтки, серебряные изящные шандалы, лёгкие и мерцающие люстры, прозрачные на окнах занавеси.

Стромынина и Михаила сразу же окружило несколько девушек с ярко накрашенными лицами и со взбитыми причёсками. Платья их все как одно были нелепы, расшиты фальшивыми камушками и фольгой, гарусными нитями и золотой проволочкой.

Но они создавали весёлую и зудящую суету, которую сразу же хотелось прекратить; по крайней мере, Михаил опешил.

— Дамы... — басом сказал он. — Оставьте нас на какое-то время.

И удивлённые девицы сделали неприязненные лица и тут же уселись по подоконникам обратно, оставив их со Стромыниным одних.

Михаил, оглядевшись, выбрал диван в углу, за невысоким столиком, метнулся туда и скорее втиснулся в полумрак, за портьеру, отделявшую диван от залитой светом гостиной.

В Москве и в Петербурге он, конечно, бывал в таких домах. И не грошовых. Они ему никогда не нравились. Все эти Лизетты, Фру-Фру и Матильдочки жутко раздражали его. Он молча заходил в подобные заведения, молча вызывал через управительницу понравившуюся девицу и так же молча увозил её на какое-то время в свой дом, где в северном флигеле у него имелась комната с потайным ходом с улицы.

Ни прислуга, ни родня — никто не мог догадаться, кого, насколько и для чего привёз хозяин. Михаил Емельянович отделил это место для себя. Никто и не спрашивал.

А ходить по чужим постелям он не умел и не хотел. Ему было стыдно.

Иногда какая-нибудь барышня задерживалась даже до недели, но потом всегда Михаил увозил их назад, откуда взял, и уже во второй раз одну и ту же не брал.

Но, надо сказать, случаи с девицами и дамами происходили не так часто. Может быть, два-три раза в год.

— Куда ты меня привёл? — процедил Михаил Стромынину, наливаясь румянцем. — Зачем сюда? Обещал что-то необыкновенное.

Стромынин махнул барышне-официантке в фартушке и строгом, на коротком, до колен, платье. — Милая, принеси нам анисовой и винограду. Желательно «дамский пальчик» розовый. И разрежь дыню.

Когда барышня отошла, Стромынин уселся на стул с другой стороны столика и подтянул себе длинными пальцами хрустальную пепельницу в виде раскрытой ракушки.

— Мишель... — недовольно сказал он. — Ты понимаешь, да? Понимаешь, что я тебе ничего чудесного не наколдую? Тем более здесь, в Крыму. Ну, может, какую татарку, девочку... Да и то вряд ли. Может, мальчика.

— Я тебя сейчас проткну тростью! — грозно рыкнул Михаил. — Ты ошалел, что ли?! Я что, какой-то там дворянчик из этих вот?!

И Михаил покрутил ладонью над столом. — А у меня есть тут хорошая знакомая, она совсем не такая, как эти вот...

Стромынин махнул головой на смеющихся девиц, сидящих на подоконниках с голыми ногами. — А что, есть такие, что сюда пойдут для другого дела?

Тем временем барышня принесла душистую дыню, блюдо винограда и графинчик с двумя стопками.

— Не желаете дамам сделать комплимент? — спросила она.

— Пусть берут что хотят, — буркнул Михаил и бросил на блюдо несколько десятирублёвых ассигнаций.

Стромынин сглотнул, вытянул голову из воротничка и воззрился на Михаила.

— Так, в общем, я понял... Эти ваши привычки прекрасны, конечно...

— А то! — вздохнул Михаил и, прикрыв глаза рукою, зевнул. — Ты ничего, Павел, обо мне не знаешь, но, зная уже достаточно, должен же понимать, что я не этот самый. Мне и женщина, право, не нужна... Это сейчас вот... ты меня привёл сюда... разбередил во мне... а так... не нужна, и кончено. — Постой, надо дожидаться, раз ты осмелился! — возмущился Стромынин.

— Так и бери её себе.

— Нет, Мишель!

— Мне неохота начинать опять какие-то эти вот...

— Мишель!

В то же время к их столу подошла дама в шёлковом сиреневом платье с золотистыми волосами, сколотыми на макушке черепаховым гребнем.

Стромынин обернулся, подскочил и раскланялся.

— А! Мадмуазель Амалия! А! Вот вы какая, неожиданная.

— Я всегда тут по средам... будто ты не знаешь... — сказала мадмуазель таким же золотистым голосом, как её кудри.

Михаил почувствовал что-то необыкновенное. Слово его прибили огромным гвоздём на место и он не мог пошевелиться, чтобы, не дай Бог, не сделать себе хуже.

Он не мог двинуться с места.

Одна керосиновая лампа, поставленная в угол за портьерой, слабо светила на неожиданно пришедшую мадмуазель Амалию. Та села на другой стул, взяла двумя пальцами виноградную кисточку и откусила несколько виноградин сразу.

Михаил побелел лицом, Стромынин хлопнул в ладоши, чтобы принесли ещё посуду и вина для дамы.

Мадмуазель Амалия источала сияние.

— Добрый вечер! Вы Михаил Емельянович? — спросила она, наклонив высокую шею, и Михаил заметил на её правом виске маленькую родинку. — Да! Это я! — ответил он как на плацу и сам испугался своего голоса.

— Он очень скромный, очень-очень! — засмеялся Стромынин.

— Да я и сама тиха, как глубокая вода, — улыбнулась Амалия.

— Вот эта та женщина, о которой я тебе говорил, — сказал Стромынин, подмигнув Михаилу. — Мечта, этуалечка! Натуральная, живая.

Амалия засмеялась. Михаил сквозь оползни своего смятения тоже улыбнулся.

Амалия в свете и среди всего, что наполняло этот дом, выглядела будто его необходимая часть, или, вернее, деталь.

Девицы все были хороши и белы, и слишком даже молоды и щебетливы, а она царственна. И сама её спина, и линия декольте, и талия, кажется, нисколько не требующая корсета, и маленькая рука с тонкими пальцами, и лицо, какое нельзя было запросто увидеть ни на какой улице, повергли Михаила в остолбенение.

Он перехватил взгляд Амалии, который она неосторожно задержала на его лице. Взгляд чёрных, как южное море, глаз, слегка узких и любопытных, но наполненных совершенным умом и осторожностью. Только за один такой взгляд можно было бы потерять голову. Но через миг она уже смотрела по-другому, свысока, словно всё поняла о нём, только скользнув и сразу же выхватив нужное.

Он видел красивых дам и девушек, но Амалия несла свою красоту словно что-то обычное и вместе с тем недостижимое простым смертным.

Михаил же не изучал её, а перекинул ей в душу что-то восторженное и строгое, как солнечный свет, оторванный от круглого бока светила, должный дойти до её самого потаённого чувства.

Что-то забыв, напугавшись и смутившись от этого бессловесного обмена, она внезапно встала и, коротко кивнув, извинилась.

— Я отойду ненадолго, мне нужно к мадам Жур подойти, сказать, что я приехала.

И она словно оторвалась от ковра, на котором стояли её ноги, и медленно вышла, шелестя соборным шёлком платья.

— Она тут не живёт, приезжает два раза в неделю. Очень сторожится,— прошептал Стромьнин, склонившись к Михаилу.— Если ты думаешь, что это... наваждение, ты прав. Амбрэ... дю солей.

— Ох... — забросив голову назад, сказал Михаил.— У меня аж прямо челюсть свело. И, кажется, внутри всё куда-то провалилось. Господь велик! И почему? Почему она здесь? Ну, говори мне!

— Она живёт неподалёку.

— И что же? Жена чья-то?

— Нет. Губернатор ваш... ваш, ты понял меня, содержал её в Москве. Да! Не делай круглые глаза, Мишель! Она у него прожила год, а потом уехала. Спряталась. И живёт здесь уже три года. Да, уже она не слишком молода, ей двадцать девять. Это я узнал из источников своих, доверенных. Она умная, как Спиноза.

— А ещё что? Какие подробности?

— Говорили о ней всякое, но она только с очень состоятельными господами дружит.

— Сколько же ты ей посулил от меня, если она пришла ко мне посвиданничать?

Стромьнин отвёл глаза.

— Я нисколько не сулил, а только говорил, что есть-де такой интересный человек и что ты хороший.

— Хороший! — хохотнул Михаил.— Этой сестре главное, чтобы хороший был! Да не человек вовсе!

Стромьнин замахал головой.

— Нет, Мишель, нет! Она вовсе не из этой, как ты говоришь, сестры. Нет! Ошибка! Она другая совсем.

— Придётся тебе поверить,— сказал Михаил с усмешкой.— Но хороша! Хороша... Редкой красоты женщина. Но у неё, значит, должен быть какой-нибудь изъян.

— Это уже тебе искать! — обиделся Стромьнин.— Но если ты... если ты сейчас уйдёшь, то я не знаю, как и что... Что я ей скажу.

— Скажи ей, что я приеду скоро. Пусть ждёт меня. Пусть хорошенько ждёт.

Стромьнин вскочил.

— Мишель, ты что! Где ждёт?

Но Михаил Емельянович резко встал, кивнул Стромьнину и отодвинул его со своего пути.

— Я сниму ей квартиру на Московской. Пусть едет туда и ждёт, когда я приду. А сюда ты мог бы меня не водить, это место не для меня. Павел! Завтра в одиннадцать у мола.

С этими словами Михаил, поправив жилет на поясе, откланялся и вышел из залы.

Стромьнин скривил лицо.

— Не для меня... видишь ли... Воображала...

Подожла взволнованная Амалия.

— Павел... А где ваш спутник? — спросила она, присаживаясь на диван.

Стромьнин горько вздохнул.

— У него закружилась голова, здесь надушено.

— Ну да... есть немного такого... — улыбнулась Амалия уголками губ.— Что он сказал?

— Он сказал, чтобы вы его ждали в квартире на Московской.

— Где? — снова улыбнулась Амалия.— У него?

— Нет! Он вам снимет квартиру на Московской. И придет к вам сам.

— Что? — переспросила Амалия, и её губы задрожали.— Что, Павел?

— Он хочет дать вам время подумать.

— Подумать? Он что, решил, что я продаюсь? И сразу перееду к нему в квартиру, и сразу... Ну нет! Посмотрите!

Амалия выхватила у Стромьнина из рук графинчик и плеснула себе в стопку.

— Скажите ему, что он наглый тип! И хам! А хамам я указываю на дверь, даже если они миллионщики, как вы говорите.

И Амалия, опрокинув стопку и не изменив лица, встала и пошла к лестнице, ведущей в номера.

Стромьнин уронил голову в руки.

Письмо было на французском. Величалин едва дождался вечера, чтобы Женечка уснула, а она только хохотала со Стромьниным своим птичьим смехом, похожим на крик чаек, и старалась обыграть его в шашки.

Наконец вошёл Дуже.

— Евгения Михайловна, идёмте, я разогрел средство, вам нужно срочно в постель, уже около одиннадцати.

Женечка бросила на отца робкий взгляд:

— Можно я потом ещё приду?

— Нет... душа моя. Придешь уже завтра. Стромьнин никуда не денется.

Женечка склонила голову, медленно встала и пошла в спальню.

— Я приду тебя поцеловать! — крикнул ей вслед Михаил.

Стромьнин собирал шашки в ларчик.

— Ты бешеный... — нараспев сказал он.— Бешеный!

— Я просто не люблю, когда женщины так мне отвечают.

— А ты как хотел?!

— А я никак и не хотел. Теперь я уверился в своей правоте полностью! Не надо было мне лезть во всё это.

— И что теперь, отступишь? Дашь себя победить? Да? Этуале дашь?

— Читай, читай скорее лучше!

Стромынин хлопнул крышечкой деревянного ларчика, отчего взведённый Михаил подпрыгнул на месте, как от выстрела, и вытянул из-за жилета письмо.

Стромынин, послунив пальцы, открыл конвертик, достал письмо на голубой бумаге и откашлялся.

— Я сейчас ударю тебя, Павел! Проткну тростью! — зашипел Михаил.

— Изволь... О, по-французски.

— Читай!

— Так написано витийно!

— Читай, сказал!

— «Тра-та-та, милостивый государь, вы были неправы меня так увидеть... там, не надо было нам там видеться, я совсем не то... тра-та-та...» — Ты что, рехнулся, Павел? Почему ты пропускаешь?

— Тут неинтересно.

— Но я сейчас...

— Понял... проткну тростью, убью посохом... Полный текст: «Милостивый государь, Михаил Емельянович... Имею сказать вам своё великое неразумие относительно вашего мальчишеского неразумия, поскольку мужчине сбегать не пристало. Теперь же, выводя меня из себя, вы требуете, чтобы я с вами встретилась там, где вы решили. Отнюдь этого не будет, потому что не может быть. Я себя слишком высоко ценю, дабы вам производить надо мной какие-то подобные действия и желания! Заметьте это себе и зарубите на своём купеческом носу!»

Михаил ударил двумя руками по стулу так, что он жалобно треснул где-то посередине.

— Да я! Да я её! — задохнулся он, покраснел и, схватив кувшин с водой для полива с поставца, плеснул на себя.

— Вот! Именно то самое, что нужно! — засмеялся Стромынин своим фигуристым, заразительным смехом.

— Что она мнит о себе?! Да хоть бы она была тайной женой государя императора! В отставке! — Ах, Мишель, прекрати гневаться, я сейчас...

— Да если бы она была царица эта... Савская или Хавская, как там её! Пусть молчит! Ж-ж-женщина!

И Михаил, пометавшись по комнате, подбежал к убранному светлыми занавесками островерху окопцу и стал бороться со щекотками. Они некоторое время не поддавались, но потом окно захрустело и открылось.

С моря залетел прохладный ветер, сдобренный запахом скошенной травы и переспевших персиков.

— Где она живёт, Стромынин? Чёртова ж-ж-женщина! — крикнул Михаил Емельянович в сердцах. — Я эту Ялту на уши подниму, но мне нужна сатисфакция!

— Мишель, ты пока уймись.

— Ну? Ты знаешь? Всё! Больше ни слова о ней! — Михаил хватал воздух из окна, как задыхающийся. — Но нет! Чёрт возьми, а? Срезала!

Стромынин уже исподлобья смотрел на Михаила издевающимся взглядом. Он наблюдал за ним, как за актёром в театре, вышедшим на сцену под мухой. И ждал, что вот-вот... сейчас что-нибудь совершится, отчего станет стыдно и щекотно за него.

— Так со мной не поступали! Ну нет! Я помню, ладно... Было один раз, когда я шемизетку какую-то в Москве однажды полюбил, и очень. Она была с Калужской заставы, тут вот... то есть там на дачах жила с каким-то дворянчиком. Потом он уехал с дач, а она осталась жить на них и, скучая, каталась до Лубянки и назад на извозчике. Переменяли лошадей у водоразборного, у фонтана, там я шёл нанимать ямщика, а тут стоит она у возка, вся в пере и пухе... Чёрт, как меня тогда подкинуло! Да, от меня только что убежала моя жена, Женечка была ещё здорова. О горе! Я к ней подошёл, договорился, а она мне в лицо: да поехали... Три дня мы с ней пропадали, ох, что за женщина была! Я жениться хотел! А она мне говорит: «Сам большой, а ум короткий. И мне пора в тишину дубов». Я как вскочил! Царица Небесная, она... мне! Как швырнул её на улицу вместе с её платьями-разлатьями! Всё, после того такого больше уже не было. Я был дурак. Я и сейчас стал дурак. Ты виноват!

И Михаил ткнул своим огромным пальцем в слабую и будто бы хрустнувшую грудь Стромынина.

— Хорошо, — покорно сказал Стромынин. — Я виноват. Я пошёл? Или ты меня намереваешься тут убить, да? Нет?

В это время тяжёлая дверь чуть отворилась, и в комнату заглянул доктор Дузе.

— Михайла Емельянович! Не могли бы вы... потише немного? Женечка засыпает, и мы не слышим Гюго. Так вы тут кричите. Через вас не слышится Гюго.

Михаил Емельянович, словно очнувшись, закрыл рот двумя руками:

— Друг мой, молчу! Молчу наипокорно.

Дузе закрыл дверь, а Михаил размашисто перекрестился на угол, где в паутине под самым потолком виднелась маленькая иконка.

— Что такое, Господи? Почему ко мне такая вот... беда?

Стромынин привстал, но Михаил, подскочив, ударил его ладонью по плечу и вбил обратно в кресло.

— Сиди! Пока не скажешь, где она живёт, я не отпущу тебя.

— Я и не скрываю... — промычал Стромынин. — Ты соберись и реши, что тебе нужно. Может, тебе нужно коньяку или пустырника выпить.

Михаил тяжело упал на диваны. Он был одет как средиземноморский пират—в коротких штанах, открывающих его мощные икры, и в свободную рубашку, перетянутую кушаком. Не хватало только кинжала в золотых ножнах и повязки на голове. Вся стать морских разбойников отметилась в Михаиле как родная.

— Я её... просто посмотрю, хоть издали. Это действительно энигма, как ты говоришь. Я её не понял, не промыслил. И она—чего хочет от меня? Вот чего? Чего?

Стромынин смиренно сидел в кресле.

— Ну... что может хотеть женщина от мужчины...

— Так что ты молчишь, как жабий камень? Где она живёт?

— В Аутке.

— А! Вот что! А где в Аутке? Мне что, сжечь вашу Аутку?..

В дверь снова заглянул Дузе, и Михаил кинул в него бархатным тапком.

— Молчу!

Дузе ретировался.

— Ты знаешь, если меня до этого доведут, то всё! Поехали в Аутку, беги, бери извоз!

Стромынин вскочил и выбежал из комнаты. Через миг он уже договаривался на каменном дворе гостиницы с лохматым мужиком в картузе.

Величалин впрыгнул в сапоги, набросил пиджак и, схватив со стола несколько раздавленных абрикосин, бросил их в рот, как в жерло вулкана.

— Дьяволы!—рявкнул он и быстро вышел из номера.

Женечка, слыша всю эту историю через две комнаты, лежала в постели, укрытая до подбородка.

Дузе сидел рядом и читал при лампе.

— Доктор...—прошептала Женечка.—Папá чем-то обеспокоен. Ведь не мной? Я хорошо себя веду?

— О да, ангел мой, вы славная...—улыбнулся Дузе из-за книги.—Не в вас, видно, дело, что-то решает...

— А я думаю... он вчера пропал... Где-то, наверное, был в весёлом месте...

— Ну! Что вы, какие весёлые места?!

— Я знаю, я читала...—перебила доктора Женечка.—Он, наверное, был с женщиной; я знаю, что его женщины только так могут довести.

Дузе молча отвёл глаза и покраснел.

— Наверное, он скоро вернётся, и вы уже будете спать и ни о чём дурном не думать. А потом всё с ним Стромынин.

— Вот и я о том же...—вздыхнула Женечка.

— Все лошади у вас тут как ишаки! Что за лошади?! Что вы еле тащитесь?! Мало того, что жара, что духота, смерть просто! И ваши лошади! Чтоб они!—Михаил гремел, пока ехал по недавно вымощенной турками дороге.

Сообщение тут, в горах по побережью, было преотвратительным. Чуть дальше на юго-восток можно было, конечно, двинуться по татарским дорогам, через Симферополь и к Карасубазару и Солхату, но Величалин ужасно боялся высоты, поэтому зажмурился, когда ехал сюда с Женечкой по перевалам.

— Ну почему, почему тут ещё не сделали сносное сообщение?—ворчал Михаил.—Денег им, что ли, дать, как Дервиз? Дервиз все дороги по губернии вымостил! Что, сюда императорская семья ездит, тут и Юсупов, и Воронцов,—и вместе с ними дичь?

— Ой, дичь!—кивал извозчик.—Давеча вот далеко ездил, на Салгир, там иллюминацию трёхдневную устраивали, возил туда князя одного. Тайно возил. Утого, конечно, морская болезнь, а больше башка дурная. Ну... вот навидался я жути. Там и старый Голицын был. Я издали смотрел, да... Диковинно, но страховито.

— А что было то?—спросил Стромынин.

— А, так рождение внучки чьей-то праздновали. Люминация, цыганы, татары. Всякого беса нагнали. Представления, театры—и вино... вино по всем фонтанам, хоть купайся, закуся икры вёдрами, рыбы белой, красной, мяса на серебре подавали, и всем в парке было свободное хождение, и давали золотой рубль каждому.

— Ну удивил! В Москве не был ты.

— Почему?... Отхожу и в Москву... Там всегда так по бульварам да паркам, а тут же только вот начали народ дивить.

— Лучше б дороги сделали!—плюнул Михаил в пропасть.

— Да! Ну, скоро летательное чегой-то придумают, и можно не делать дороги. Видал я уже и синему, и телеграф, и граммофон видал. А уж автомобили то! Господи, гудят, ревут! Несутся ужо! Скоро придумают, ей-бога мать, летательное что-то. Неохота в Москву ехать через те автомобили.

На пустой дороге на Аутку не было видно ни зги. Только по очертаниям кустарников на фоне моря можно было понять, где начинается край каменистого склона. Ямщик заболтал Стромынина и Михаила до того, что Михаил даже немного успокоился и уже так сильно не выкрикивал проклятия всему женскому роду.

Стромынин ехал подавленный и перебирал в голове, что сказать мадамусель Амалии.

Он как будто бы знал её ещё с Москвы. Там видел много раз на приёмах и в театре, где присутствовал как журналист. У него всегда была тяга к прекрасным женщинам. А когда случился скандал и Амалия исчезла из Москвы, он под вымышленными именами даже написал в газете целую новеллу о хитросплетениях любовных отношений и их плачевных итогах.

Уход Амалии от губернатора был громким, и даже сама губернаторша все силы приложила

к тому, чтобы сгладить любые пересуды об этой истории. Но всё равно говорили, и говорили много. — В Нижню ехать? — выкрикнул извозчик Стромьнина из воспоминаний. — Да... — вяло произнёс он. — Дача чекалинская... знаешь?.. — Как не знать!

Потянулось во мраке, к счастью, политое светом взошедшего месяца, предместье в витиеватых улочках. За витиеватостью дорога освободилась, и вдалеке предстали Заречье и каскад беленьких дач по склонам горы.

Извозчик несколько раз повернул. Михаил совсем успокоился и молчал в глубине фаэтона, будто его накрыли шляпой.

— Вот! Приехали! Ночная такса мне...

Стромьнин протянул руку Михаилу, тот бросил в ладонь ему несколько пятиалтынных и бумажку. — Ждать вас? — спросил с козел извозчик. — Отъезд туда, под пихты. И подожди до получаса. Коли не выйдем, то поезжай назад.

Михаил и Стромьнин вышли из фаэтона, прихрустнув песком, которым была обсыпана дорога к дачам.

Ямщик отъехал подальше и всыпал уже овсу лошадям, перетаптывающимся и вызывающим собачий лай за высокими заборами.

Михаил пошёл за Стромьниным под навес раскидистых сосен во дворы, где так же их сперва облаяли.

В некоторых дворах горели фонари и светились окна дачных домов.

За дачными домами неказистые мазанки были рассыпаны в полном беспорядке по возвышенности и тонули в зеленях, теперь, ночью, в чёрных. — Ну я никак не могу понять, что тут делает такая блестящая госпожа, — издевательски сказал Величанин, когда Стромьнин подвёл его к скромному заборчику из досок и постучал.

За забором послышалось рычание собаки.

Стромьнин ударил несколько раз в окошко сторожки. Там, внутри, завозились, и старый скрипучий голос спросил:

— Что там за чума ночью?

— Отоприте, пожалуйста, мы к мадмуазель Амалии срочно.

Что-то застучало и загремело в сторожке. Наконец через пять минут вышел дед в фуражке времён турецкой войны и серой замашке.

— Она не велела ночью пускать, я девушку позову.

Он пропал в темноте. Михаил стоял и трясся. — Ты чего? Оконфузился? — спросил Стромьнин, прыснув.

— Н-н-нет... я что-то... — пролепетал Михаил. — Мне что-то дурно.

Строгий страж дачного покоя вернулся с девушкой, закутанной по глаза в шаль.

— Вы из города?

— Да! Скажи ей, что я пришёл.

— Хорошо!

Девушка удалилась. Михаил стал искать глазами ямщика и, увидав его ещё на месте, под пихтами, успокоился.

Из домика вышла тоненькая девушка в той же самой шали. Она быстро подошла по дорожке к забору и смело вышла.

— Что вам нужно? Мне кажется, всякая переписка уже даром, — сказала она жёстко.

Из-под тени дерева вышел Михаил.

— Стромьнин! — резко сказала Амалия. — Я вам сказала не появляться тут. Я буду и дальше работать... но вы меня оставьте. Сыта я вашей добротой. А вы, — обратилась она к Михаилу, — идите вон! — Амалия... но... это же мы... оба к вам... — Вот оба вон и идите! Ну? Что встали?

И Амалия подняла острый подбородок, и от этого движения волосы её, убранные на макушке, упали на спину волной.

Михаил и Стромьнин молчали, остолбенев.

— Я сейчас прикажу собаку на вас спустить! На вас! — и Амалия указала пальцем на Михаила. — За что вы так со мной? — спросил Михаил, кашлянув. — За что сейчас?

— Вы! Вы ещё спрашиваете! Дом! Номера! Выезд! Идите прочь! За вот это я вас отсылаю, за вашу наглость! Потерпела уже от этой высокосветской наглости. Все мы для вас песок, а не люди. Вам всем надо, чтобы этот песок только стелился перед вами. Так? За что мне-то перед вами стелиться? И вообще, Стромьнин. Довольно это, хватит мне сватать хамов.

И Амалия, качнув волосами, схватилась за низкую калитку. Но, не успев закрыть её, рука Михаила придавила её руку к точёному верху.

Стромьнин мгновенно испарился в темноте.

— Не уходите, — сказал Михаил медленно.

Амалия пару раз выдохнула, как загнавшаяся скаковая лошадь.

— Что вы должны Стромьнину? Скажите мне, и я покрою ваши долги и оставлю вас навсегда.

Амалия вскинула голову.

— Это он мне должен, — чуть слышно, но с вызовом бросила она. — Он мне должен за мои унижения. Но я не собираюсь вам ничего тут открывать. Я для вас ещё одна. А вы для меня ещё один. И хватит на этом. Пустите!

Но Михаил крепко прижимал её руку к калитке.

— Может быть, я приеду один, чтобы поговорить и объясниться вам, что я не тот, кого вам сватал Павел Леонардович?

— Он только и хотел, чтобы устроить меня, — быстро сказала Амалия.

— Давайте я вам дам неделю времени, и встретимся через неделю у Массандровского сада, в пять часов пополудни. Я там гуляю с дочерью.

Амалия сникла, и рука её сползла с калитки.

— Это ни к чему вас не обяжет, просто походим бок о бок,— дрогнув голосом, сказал Михаил.

— Я ничем не собиралась быть вам обязанной. Вы надутый купчина, навиделась я таких господ.

Михаил вздохнул и отошёл на два шага.

— Меж тем я человек, и вы меня не знаете,— сказал он без тени волнения, но очень твёрдо.— А я так же не знаю вас. И перекрывать себе всякий путь к возможности узнавать вас не хочу.

Из темноты раздался свист Стромынина.

— Однако, да... перед моим приглашением прошу вас ответить на мои ухаживания хотя бы благо-склонностью.

— Не обещаю,— сказала Амалия ровно.— Вы... много думаете о себе.

Михаил кивнул, поймал руку Амалии, мягкую и горячую, без колец и перстней, поцеловал её и исчез во мраке.

Амалия вернулась в комнаты в необыкновенном волнении. Она долго сидела перед зеркалом и жгла свечу, разглядывая своё лицо. В нём рождалось некое новое выражение, а старое утекало куда-то от новой улыбки.

Она так и уснула, улыбаясь.

С утра на море был шторм. Смотрели на шторм из-за перил набережной. Женечка, приклонившись к Стромынину и положив ему голову на плечо, молчала, перебирая янтарные бабкины чётки, без которых редко выходила гулять.

Михаил сидел строго, как сомнамбула и глядел на тяжёлые валы, разбивающие каменные насыпи на берегу. Ему казалось, что сейчас что-то трескается и в нём под этим страшным гулом.

Днём Женечка была весела и попросила пройти по пляжу, чтобы убежать от волн. Она несколько раз, за руку со Стромыниным, подбегала к краю взбурившейся воды и отбегала прочь, чтобы не намочить платье. Стромынин подхватывал её и кружил.

Наконец он подхватил её за талию, чтобы спасти от воды, и Женечка дёрнулась в его руках, обхватила его шею и судорожно прижалась к его груди. Стромынин отнёс её на большой камень.

С высоты набережной за ними приглядывал Величалин.

— Папá не слышит... Павел Леонардович... а вы не понимаете... — прошептала Женечка.

Ветер набросил ей на лицо кудри. Она смотрела на Стромынина как верная собачонка, ожидающая удара хозяина.

— Не подумайте, я всё знаю... Придите ко мне, как папá не будет. Мне нужно... чтобы вы пришли ко мне.

Стромынин замер и смотрел без движения на Женечку, и ему хотелось обнять её и сразу же унести куда-то.

Бедный человек, Стромынин никогда не жил так, как ему хотелось. В этом была причина его несчастья. Ведь всегда находятся люди, которые сами себя не умеют успокоить, и мнутя, и рвутся, и не знают, как другие не мучаются.

Горе от ума или что ещё другое? Может быть, и что другое, но оттого вовсе не легче.

Стромынин устраивал Амалии встречи с самыми богатыми отдыхающими, вылавливая их по пляжу. Начинать с того, что наблюдал, а после входил в доверие. Водил в Беседку— так назывался тот домик, в который они с Величалиным ходили в первый раз. Там со стоворчивыми господами у Амалии всё прелотливо устраивалось. Стромынин собирал капитал на открытие собственной типографии, Амалия снимала дачу. В этот год она устроилась учительницей грамматики в ауткинскую школу, ходила в храм петь.

Никто в этой женщине, скромной и немногословной не мог углядеть блестящую Амалию, в которую она обращалась вечерами и ночами.

Но она и стараниями Стромынина встречалась только с отдыхающими, чтоб никто из местных, не дай Бог, не узнал ничего.

Всё тут было поставлено на хорошую ногу, ничего не скрипело, пока не появился Величалин. А оказалось, просто... Амалии терпение изощло. Устала она от своего положения. Время её к тридцати, а ничего хорошего нет! Да, расцвет телесный, но где покой душевный?

Что-то всё-таки Амалия в Величалине углядела. Что-то природно-чистое, и вместе с тем способность сочувствовать.

Но Стромынин, человек изящного плетения, был хрупок лишь снаружи. Его, казалось, ничего внутри не трогало, ничего не раздражало. Он выходил сухим из воды, шёл навстречу ветру и не гнулся, был, как ргуть, всюду пропущен, в любую щель.

И он не ожидал, что в нём явно пробудится чувство к Женечке.

Таких, как она, тут была прорва. Они даже намылили ему глаз. Маленькие, хрупкие мотыльки, доживающие век свой в странном и мрачном мире, освещённом последним отчаянным обожанием родных и близких.

Женечка же как-то слишком была живой для своего положения. Она рвалась из него, словно не понимала, что всему её существу скоро придёт конец. А может быть, конец её так и дразнил.

Но Стромынин не питал никаких надежд в отношении неё.

Он проживал в двух комнатах в районе Заречья. Стол, кровать, два стула, маленькая прихожая, где стояли диван и торшер. Весь его быт. Только в гардеробе его много разной одежды, нужно же было «выглядеть» для господ своим.

Амалия также имела с полтораста платьев. Она никогда не выглядела скучно, как днём, отправляясь к ученицам.

Всю ту неделю, что Величалин дал Амалии и себе подумать над жизнью, они оба не находили себе места.

Величалин прогуливался с Женечкой и Дузе, но на лице его всё время играла улыбка. Он прятал эту улыбку за благодушным разговором, за невероятной нежностью, проснувшейся к Женечке.

Стромынин тенью шёл рядом и дивился переменам в Михаиле.

Михаилу же хотелось обнять весь мир. Даже песок и щебень, даже бакланов и дворовых собак.

Женечка умоляюще взглядывала на Стромынина, но тот, подставив ей локоть, только чуть поглаживал пальцы в перчатке, чем вводил её в волнение и слёзы.

Порой, пропустив вперёд Михаила, Стромынин останавливался, будто показать Женечке белку на кедре, или дельфинов на морской зыби, или яхту. Дузе и Михаил переговаривались, шли впереди.

— Я, несомненно, люблю, люблю вас как свою душу, но ничего не может быть. Ничего... Вы девица совсем ещё незрелая, я для вас только внешне интересен, вы меня не знаете, я принесу вас несчастье, уйму бед.

— Мне всё равно... — улыбалась Женечка. — Пусть это будут первые и последние мои беды, я не хочу уходить без бед. Я хочу этих бед, Павел Леонардович, наделите, украсьте меня ими.

— Вы обчитались Мопассана и Мериме, мне вам трудно объяснить, что в жизни складываются иные законы, чем в литературе. Женечка, вы меня доведёте до греха.

— Никакого греха в любви нет. Не отвлекайте меня от моего помешательства. Я хочу новой жизни.

Стромынин хватал её руки и жадно целовал их, оборотившись спиной к Михаилу, пока Женечка подглядывала, чтобы их не заметили.

На её мраморном лице, где прожилки на висках вились, как подлёдные ручьи, вспыхивал слабый румянец, глаза становились ярче, зыгрывались, как бериллово-зелёное море от солнечного света.

В этом очаровании обречённости было так много страсти, что Стромынин от запаха Женечкиных кудрей, от эвкалиптового масла, которым она пропахла по вине лечения Дузе, забывал о своей душе и пытался не отдаться нескромным мыслям.

Бродя по Заречью, наслаждаясь внезапным похолоданием и свежестью, Величалин со Стромыниным однажды забрели в татарскую корчемлю, где все сидели, по обычаю, с ногами за столом.

Стромынин задёрнул кисейную завеску, попросил кальян с шариком гашиша, и Величалина развезло.

— Если бы мне раньше попалась ваша Амалия, я бы даже внимания на неё не обратил. Ведь она играет со мной, балуется. А что возьмёшь серьёзного с баловства?

— Ничего она не балуется. Я впервые вижу, что мадмуазель Амалия так зла. Без причины, — выдохнув дым, проговорил Стромынин. — Мы, в сущности ничего не понимаем о женщинах. Думаем о них так, как нам удобно, а надо как-то иначе.

Величалин покрутил ус. Ему давно не было так спокойно и тепло, как сейчас, на этих басурманских коврах, под тихое постукивание давула и завывание кеменче. Михаилу чудились тени, прыгающие на него, бегущие по-над верхами масляных плошек, над горками рассыпчатого плова и винными корчагами.

Музыка заунывно плелась в глубине корчмы. Она выливалась из угла, где на циновках сидели три музыканта, и грусти, степной грусти одиноких вечерних яйл, каменных ущелий, дыхания моря не было предела.

Море вздыхало совсем близко шумными валами, ударяющими в заграждения мола. Оно качало всю мировую печаль и выплёскивало лишь толику той страсти, которую нельзя было измерить никакими баками и кубами. Синь, сосущая душу через завихрение ветра, утренняя маета бледного сизого пространства.

И всё это крепко заплелось в один вал непроглядного одиночества и тоски, которая накрыла и расплющила Михаила.

Он приподнял голову над подушками. — Стромынин... ты любил когда-нибудь?.. — спросил он вполголоса, стараясь не выпутаться из музыки и дремоты.

— Любил... — тут же отозвался Стромынин. — Мне было очень удивительно, что я вообще мог это делать, но это случилось ещё в юности и быстро прошло. Сквозь кровь свою я пропустил эту любовь. Совсем был молод, а она была такая... совсем лёгкая, тонкая, и нельзя было её поймать. Нельзя было, а иначе бы я поймал... Что я тебе говорю?.. Зачем?.. — Надо говорить, говори, Стромынин... мне сейчас нельзя без разговоров никак нельзя, умру, сойду с ума.

— Ну, тогда давай ещё вдую, Мишель.

И Стромынин передал ему трубку.

Михаил вдохнул сладкий дым, проплывший по его существу и закруживший голову до того, что он упал на подушки.

— Вот я боюсь, что будет с Женечкой, опасаясь, что всё, к чему я привык, скоро исчезнет, и только одиночество останется. Ведь я одинок и горек, как я горек... Если бы я раньше встретил её...

— Чего вы ждёте, я не понимаю? — сказал Стромынин. — Вам уже поздно и незачем ждать, это ожидание делает только ещё несчастнее и её, и тебя. Зачем ты её мучаешь?

— Ты думаешь, что я мучаю её? — приподнялся Михаил. — А что, я должен наступить на гордость свою?

— Как тебе хочется, Мишель. Ты знаешь теперь, где она живёт и где её можно найти. И всё равно чего-то ожидаешь. А я бы не стал ждать, если б имел предложение. Такое прекрасное предложение, и такой ты глупец!

Михаил попытался встать, но его что-то тяжело уронило назад.

— Э, брат, ты пропал. Совсем пропал.

Стромынин встал на четвереньки и, выглянув за завеску, позвонил хозяина-татарина.

— Любезнейший, пошли за извозчиком. Будь добр.

Из корчмы Стромынин вывел Михаила под руку и выглядел смешно, таща его огромную фигуру.

Михаил упал на сиденье фаэтона.

— Вези нас в Гаспру на бухту, — сказал он вяло. — Мне нужно искупаться, срочно.

Извозчик покачал головой, прикрыл дверку фаэтона и с осуждающим вздохом влез на козлы.

Стромынин придерживал Михаила, пока они ехали над скальными обрывами.

В Гаспре, миновав сеть унылых улиц, в полутьме, Стромынин и Михаил почти что выпали из фаэтона и побрели по узкой каменной вырубленной лестнице с разновеликими ступенями к морской бухте.

Михаил хотел сразу, в одежде, кинуться в море, так ему было хорошо. У воды никого не было. Волны успокоились, чуть слышно шептались. Это были уже не те волны, что воздымались вчера в самой Ялте, а тихие, связанные бухтой, негромкие и нежные пелены, будто спавшие с небесных плеч. — Посмотри, Стромынин! Какие близкие звёзды! — выкрикнул Михаил и упал ничком на гальку, глядя в небо, всеми глазами глядящее на него.

— «Смотрит на звёзды звезда моя, быть бы мне небом, чтоб мириадами звёзд мог я глядеть на тебя...» Или так: «Открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна». А тут когда-то ходил Пушкин. Знал ты это? — отозвался Стромынин. — Знал... — протянул довольный Михаил, шаря распахнутыми руками по камням. — И как можно тут не любить, в этом богоданном краю?

— Тебе надо в Италию ещё съездить. Вот где разница! Проехать по тамошней интерполяции и тамошних дам поглядеть.

— Мне не нужно! — сказал Михаил, улыбаясь. — Я решил...

— Что ты мог решить за такое время? — хмыкнул Стромынин, садясь на камень. — Поиграешься с ней — и всё, так же, как и все, бросишь.

— Ну! Дурак ты, Стромынин! Натуральный причём.

Стромынин замолк. Он смотрел на блестящие журчащие волны, меж камней гулко переговаривающиеся друг с другом. Ему было нестерпимо

грустно, и он бы тоже хотел упасть и лежать, но дорогой саржевый костюм не давал ему полностью отдаться своим желаниям.

Домой шли пешком. Михаил шёл, тяжело загребая ногами, и что-то напевал под нос. Стромынин бил тростью ненавистное шоссе, словно оно ему чем-то досадило. Не встречались ни автомобили, ни омнибусы. Утро только начиналось. Если Величалин выспался, забывшись здоровым сильным сном, то Стромынин просидел на камне, как неспящая сирена в ожидании мореходов, и жаждал рассвета. Рассвет пришёл вместе с приливом. Михаил проснулся от волн, накатывающих на его ноги.

— Ты почему, стервец, не разбудил меня? — прогремел он, быстро скинул одежду и ринулся в море.

Подобно моржу отфыркавшись, проплыв туда и назад в тёплом и благочинном море, Михаил вышел на берег, помахал руками солнцу и стал медленно одеваться.

— Женечка снилась. А ты что, так и спал на камнях? — спросил он Стромынина будто между делом.

— Да, так и сидел по твоей воле, — неприязненно бросил Стромынин, наклонился к воде и, набрав полные ладони воды, плеснул себе на голову, зевнув.

— Пойдём домой. Я волнуюсь... оставил ребёнка одного.

— С ней доктор, вряд ли ты будешь полезен больше его.

— Это как? Не-ет, брат! Она без меня раскиснет совсем.

Стромынин, конечно, пытался и спать тут, у моря, но его донимали мелкие комары, такие отвратительные, что он весь исчезался. Меж тем Михаил спал как матрос после праздника перехода экватора.

— Летучий ты голландец, тебя дрыном не взять и не разбудить! — сказал Стромынин, глядя на молодцевато повязывающего кушак Михаила. — Тебе сколько лет, Мишель?

— Тридцать семь! Старик!

— Да! Пушкин уже в гробу лежал.

— Что ты мне всё своим Пушкиным наводишь тоску? Ну, он стрелялся. А я не умею даже. Зато кулаком могу махнуть знаешь как? Во! — и Михаил попрыгал, как борец в ринге, поднимая и опуская огромные кулаки.

— Да... Амалия-то против тебя — щепочка. А Женечка вообще как ветерок.

— Женечку не трогай. Она моя душенька... — ласково улыбнулся Михаил. — Таких душечек нет больше. Знаешь, ведь она всё, что я помню.

— Пойдём тогда, раз так. Уже сил нет, и солнце разгорится. Не надо нам было вчера набираться, да ещё и гашиш этот...

Величалин быстро побежал вверх по вырубленным лестницам.

— Эй! Ты знаешь, там Голицыну старому рубили прогулочную тропу... турки-рубчики-то сутки привязанные висели... Шторм поднялся, снять их не могли. Висели, бедолаги... Но тропу вырубили что надо. Туда ходил ты?—задохнувшись от подъёма, спросил Стромынин, когда они вышли на шоссе.

— Нет! Туда только господ из бархатной книги зовут, а мы покамест рылом не вышли.

Они пошли по шоссе, прикрывая головы руками. Солнце довольно быстро стало печь.

Наконец издалека Стромынин увидел татарскую повозку с дынями. Он замахал руками.

— В Ялту! На «Лондон».

Татарин знал «Лондон» и посадил Стромынина и Величалина на край повозки. Так они и доехали. Величалин, правда, падал лицом в дыни, когда они цепляли колёсами край шоссе и внизу открывалась пустота.

— Господи, Царица Небесная!—шептал он и крепился.— Вот чего-чего, а высоты страсть боюсь...

Прибыли к полудню до города. Но Стромынин слез и пошёл в сторону Ауток, а Михаил—в сторону Большой Ялты.

Странная ночь в Михаиле породила тревогу, смешанную с чувством вины и прелести. Он то и дело поминал миндальные глаза Амалии, и за это ему было страшно стыдно перед собой.

Стромынин спал одетый, взмокнув от духоты. Окно было плотно заперто. Он намучился от комаров.

Ему снились море и яхта, беленькая, как яичко, и даже чуть голубая. Он стоял на корме и держал Женечку, которая переступала по ступеням босыми ногами. Но почему-то ноги её были красные и даже немного синие, с чёрными ноготками. И рука была такая же. Отчего Стромынин в ужасе совершенном вскочил на кровати и растянул на шею, чуть не разорвав, шёлковый галстук.

В дверь его стучали оглушительно. Он поднялся, тяжёлая голова, и налитые словно бы солёной щипучей водой глаза вываливались от сильной головной боли. Он подковылял к двери и, отчаянно зевая, отпер.

Усатый дворник стоял у двери и совал красный пропитый нос в открытую дверь.

— Барин! За вами послали срочно от господина Величалина. Приказывали немедля быть, извоз ждёт внизу, не уезжает. Я уж стучусь вам около четверти часа!

Стромынин замычал:

— Что случилось?... Сказали что?

— Сказали: срочно нужен. А уж для какого дела, не сказали, и у ямщика вам записочка.

Стромынин накинуд сандалии на босую ногу и слетел вниз по лестнице, по брусчатому двору,

за забор и к ямщику—с наслаждением ковьяряющему в носу чернявому парню.

— Что там?

— А! Барин! Как почивали?

— Записочка.

— Ох, ё!

Ямщик пошарил в кожаном гамане на поясе и вытянул клетчатый школьный листок, сложенный вчетверо, на котором было написано спешно: «Женечка! Скорее, Паша, плохо».

— Ну! Рвём ногти!—крикнул Стромынин и прыгнул в возок, на обжигающие, нагретые солнцем кожаные сиденья.

Лак упруго уркнул, Стромынин вжался в спинку под тент, а ямщик, присвистнув на лошадей, стеганул правую по крупу.

Вздохмаченный, с солёными волосами, после моря не помытый, Михаил сидел в гостинной и плакал, как ребёнок.

Стромынин быстро вбежал по лестнице к номеру и двинул дверь.

— Паша! Она умирает! Это всё я! Это я виноват! Меня не было, нас не было, а Дузе нас искал!

Михаил прыгнул к Стромынину и мощно вцепился ему в рубашку, плевал ему в лицо слезами и слюной и тряс его, как петрушку.

— Ну, Мишель! Что такое?! А Дузе где?!

— Он поехал в аптеку! Она требует тебя! Иди к ней! Успокой, я не знаю! Ах!

Стромынин взял Михаила за запястье:

— Для этого мне надо, чтобы ты меня отпустил.

— Ах да!—крикнул ему в лицо Михаил.— Только иди!

Стромынин ладонью оправил выпавшие из причёски кудри, отдал трость Михаилу и вышел через холл.

Он постукал и через несколько секунд вошёл. — Евгения Михайловна...

Женечка лежала в полутёмной комнате с задрнутыми портьерами и одной рукой сжимала красное бархатное одеяло. Голова её была поднята, на груди лежал компресс, а щёки горели так, что Стромынин чувствовал этот жар на расстоянии. — Вы здесь... славно...—прошептала Женечка.— Сядьте и думайте о том, что я вот умру, а вы... будете меня вспоминать.

— Ну что вы, Женечка! Ничего вы не умрёте!

Стромынин вдруг прослезился и, подняв Женечкину руку от одеяла, схватил в свои руки и стал горячо целовать её.

Рука была прохладной и бездвижной, но через минуту согрелась и, ожив, сжала Стромынину пальцы.

— Хорошо... а то я думала, все покинули меня—и адьё... Нет... вы не покинули, примчались.

— Мы немного с вашим батюшкой вчера перебрали, понимаете, он устал.

— И влюбился к тому же... — улынулась Женечка. — Но он клялся мне, что любит только маму. Он не хочет мне говорить.

— Что говорить?

— Что мама умерла. Он боится, что я разволнуюсь... а... я знаю это, — Женечка страшно закашлялась, откинулась вбок и прижала к губам одеяло.

Она кашляла долго и сильно, так ужасно, что Стромынин закрыл ладонями нос и рот и даже глаза от режущих слёз.

Наконец, когда Женечка перестала кашлять, Стромынин поднял лицо. Она сидела перед ним растрёпанная, дышала тяжело, и губы её были красны, а в руке она смяла платок.

Рубашка Женечки была расстёгнута до талии, и на груди видны были следы пиявочных процедур.

Стромынин вдруг увидел и услышал в Женечке что-то дикое, не поддающееся его разуму. Он был совсем близко, её тепло переходило по воздуху к нему, спелёвывало его и душило. Даже не тепло — жар. Копна волос над белым лбом, лихорадочные глаза, маленький покрасневший носик, шея в голубых тенях.

Стромынин упал на одеяло, а Женечка вплела свои пальцы в его волосы, поползла к его шее. Стромынин глухо застонал и замотал головой.

— Нет, не так, не так! — залепетал он. — Не так...

— Так... то мне осталось жить... — ответила Женечка развязно.

— Но не так...

— Приходите ко мне завтра... я отошлю папá... Я буду одна, для вас... В окно лезьте...

— В окно... тут третий этаж! — затрепетал Стромынин.

— Не трусьте... в окно по балкону с левого крыла войдёте, с пожарной лестницы... под плющом вас не увидят.

— Но я...

— В десять вечера.

— Но ваш отец будет дома.

— Так заберите его куда-нибудь к чёрту! — хрипло прошептала Женечка. — Мне важнее вас... Павел Леонардович... Паша...

Стромынин с силой стиснул полуобнажённую талию Женечки, та упала на подушки и, схватив его за шею, шумно выдохнула в ухо:

— Люблю... люблю... завтра...

Стромынин, с бьющимся в висках сердцем, захлебнулся волной горячей страсти, оторвался от Женечки и, падая, приседая на обе ноги, попрыгал к двери. В зале он овладел собой, опершись спиной о дверь, несколько раз вдохнул и выдохнул, вытер пот и заметил, что больше не хочет зевать. Нет, хочет бежать к дьяволу, хоть в Болгарию, хоть в Турцию, хоть к чёрту на рога.

Михаил ждал его с бокалом красного вина.

— Ну что?.. Как она?.. — безжизненно, изрыдав свою беду, произнёс он.

— Лучше... Кашляет, но розовая. Взяла с меня обещание прогулять её до Верхней Массандры на днях.

— Как?! — выкрикнул Михаил, порозовев. — Да? Так?

— Да... просто, как я понял, она испугалась за тебя. — Всё! Больше никаких уходов моих, — с болью в голосе сказал Михаил.

— Нет же! Наоборот. Ты как-то должен... в общем... дело такое. Она думает, что ты встретил тут... свою любовь.

— Кого? Что?

— Матушку.

— Чью?!

— Мишель, не дури!

— А... вот... а... — замылся Михаил и выпил фужер до дна. — Н-ну... чёрт... А?

Стромынин трагически вздохнул.

— В общем, так... Думай, голова, картуз куплю.

— Мы враги по несчастью. Стромынин, езжай к Амалии...

— Нет, это ты сам должен ехать, Мишель. Во-первых. А во-вторых... друзья! Говорят: друзья!

— Но как же... я?

— Но так же. Если я поеду, то что же я скажу?

— Ну... скажешь, что я умоляю!

— Стой! Нет, всё не так, опять ты! Вот глянь-ка! Приезжаю — я, прошу — я. А что, ты же считаешь, что так надо, чёрт, ты же всегда прав? Нет, Мишель! Я не за себя прошу, но теперь ты должен попросить за себя! И за Женечку!

Величалин опустил голову, как бык, старающийся забодать не только своё, но и чужое стадо.

Стромынин, правда, не испугался. Он уже думал о Женечке.

— Когда же мне ехать? — спросил порушенно Михаил.

— Сегодня напиши ей, я передам записку. Завтра ты непременно — слышишь, непременно! — должен быть у неё!

— А Женечка? Что, как я оставлю её в таком состоянии?

— Мы побудем.

Михаил вытер лицо рукавом.

— Теперь мне придётся её уговаривать.

Вдруг Михаил вскочил со стула и подбежал к буфету. Быстро выбросив из ящичков какие-то письма и документы, он порылся в них и достал маленькое фото.

— Стромынин! Я умру! — крикнул Величалин.

— Мы все умрём, — философски заметил Стромынин.

— Я тебе как пить дать говорю! Вот это фото моей жены... То есть... ну, как бы моей жены. Для Женечки. У меня не сохранилось фото с моей женой, и я для Женечки сделал. Смотри! Ну! Ведь она на неё похожа!

— Кто на кого? — взвился Стромынин. — Кто? Амалия на эту?

— Да!

— Что-то есть... отдалённое. Но ты хочешь обмануть дочь?

Величалин схватил себя за макушку.

— А что я должен делать? А? А если всё так же выйдет? Она меня предаст!

— Расскажи ей всё. Но только потом, когда с Амалией договоришься. Вот как есть Женечке расскажи. Что обманывал её и так далее. Э-эх! Ну и нравы у вас!

— Видит Бог, я не хотел! Ты прекрасно осведомлён, что я вынес.

— Да! Осведомлён. Садись и пиши к Амалии.

Стромынин приехал на ауткинские дачи уже под закат. Солнце отчаянно цеплялось за вершину горы, стараясь ещё хоть какое-то время пролить наземь раскалённый зной.

Калитка была открыта. Псина привязана. Стромынин вошёл в домик, где был встречен девушкой-горничной.

— А... барыни нет моей. — сказала она быстро. — Она укатила в Гурзуф с каким-то там кавалером.

— Надолго? — крикнул ей в лицо Стромынин.

— Ну... надьсь вот укатила. Завтра обещала быть.

— Что? Завтра? Когда она воротится?

— Может, и не завтра. Сказала, чтоб я не звала вас.

Стромынин вышел во двор, но увидел, что двинулось во втором этаже что-то, качнулась занавеска. Он со скрипом повернулся назад по песку и вбежал в сени, отодвинув довольно резко девушку, вскочил на ступеньки и побежал наверх.

Амалия не успела запереться. Она была в домашней одежде и без причёски. Волосы убрала в косу, на ногах были татарские чуреки, А лёгкое платье было перехвачено жёстким татарским поясом.

— Уходите! — некрасиво взвизгнула она. — Павел Леонардович! Уходите прочь! Вы что, договорились все терзать меня? Он меня совершенно унизил!

Стромынин кинулся на пол и схватил её за коленки так сильно и неожиданно, что Амалия не удержалась и повалилась на ковёр. Стромынин потёр руки.

— Зина! Перестань ёрничать.

— Что? — переспросила Амалия. — Что ещё я должна сделать, чтобы ни тебя, ни этого купчину, этого... борова, не видеть больше? И почему приехал не он, а ты? А? Я несколько дней места себе не нахожу!

Стромынин засмеялся и стянул с ног сандалии.

— Я вот о чём. Завтра ты просто обязана его дождаться. Это дело крайней важности.

— Какое дело? — передразнила его Амалия. — Крайней важности? Для него или для меня?

— Для всех нас!

Амалия медленно поднялась, пожала плечами и упала в плетёное кресло у окна, откуда ей хорошо были видны двор, пихты и кусочек моря.

— Штормит, что ли, вас всех? — буркнула она, доставая папиросу из тонкого серебряного портсигара с вензелем одного из благороднейших дворянских родов Российской империи. — Мало что так грустно начался этот год... подумать! Каким он дальше будет... Матушка наша померла в Твери...

— Хорошим, конечно. А матушка... что... Старая она уже была, царствие небесное... Ты выйдешь замуж за Величалина, я женюсь на Женечке.

Амалия помахала спичкой.

— У него большая дочь, да? Чего он тогда лезет ко мне? Утешиться? О чём я должна с ним говорить? Ты говорил, что я за человек и что ты за человек? Ты сказал, что ты... негодяй и подлец, который продаёт свою сестру?

Стромынин закинул ногу на стол, а на неё вторую ногу. На его босых ногах были хорошо видны следы вчерашнего вояжа.

Амалия присвистнула.

— О, Паша... где это вы лазали? По горам?

— Нет... ходили там в одно местечко. Потом накачались гашишу... Его не взяло, конечно. Зато я спал на пляже, прямо на камнях. Да и то не спал, а мучился. Я хочу жениться на его дочери, пока она жива. Понимаешь? Ты понимаешь?

— А я что тогда? Чем могу тебе помочь? — вздохнула Амалия.

Стромынин указал Амалии на грудь и сделал круг трубкой.

— Вот всё это должно работать нам на пользу.

— Ну, когда он поймёт, что мы... мерзавцы...

— К чёрту! Он никогда этого не поймёт.

— А если я полюблю его? Он, как мне кажется, достоин любви.

Стромынин указал Амалии на грудь и сделал круг трубкой.

— Если бы я не был мужчиной, я бы сказал тебе всё, что я думаю об этих вот... вахлаках. Знаешь, за две недели он мне понарассказывал уйму всего такого. Ну, что, бы ты думала, занимали его мысли и дела больше всего? Женщины! Да! Он вашу сестру любит и удит её в любом месте, где вы водитесь.

Амалия раздосадованно ударила по маленькому палисандровому столу ладонью.

— Я хочу быть обычной женщиной. Учительницей грамматики в школе. Работать, как другие. И никому не быть обязанной. Да, не те деньги... не те люди кругом. Но вот... как я устала от этих толстосумов, — и Амалия картинно провела пальчиком по шее. — Под завязочку.

— С твоим умом ты всего добьёшься. Только одно меня волнует... что молодость скоро пройдёт, а у нас всё ещё долги и не выкуплено имение.

— Я хочу быть обычной женщиной. Учительницей грамматики в школе. Работать, как другие. И никому не быть обязанной. Да, не те деньги... не те люди кругом. Но вот... как я устала от этих толстосумов, — и Амалия картинно провела пальчиком по шее. — Под завязочку.

— С твоим умом ты всего добьёшься. Только одно меня волнует... что молодость скоро пройдёт, а у нас всё ещё долги и не выкуплено имение.

— Я хочу быть обычной женщиной. Учительницей грамматики в школе. Работать, как другие. И никому не быть обязанной. Да, не те деньги... не те люди кругом. Но вот... как я устала от этих толстосумов, — и Амалия картинно провела пальчиком по шее. — Под завязочку.

— С твоим умом ты всего добьёшься. Только одно меня волнует... что молодость скоро пройдёт, а у нас всё ещё долги и не выкуплено имение.

— Я хочу быть обычной женщиной. Учительницей грамматики в школе. Работать, как другие. И никому не быть обязанной. Да, не те деньги... не те люди кругом. Но вот... как я устала от этих толстосумов, — и Амалия картинно провела пальчиком по шее. — Под завязочку.

— С твоим умом ты всего добьёшься. Только одно меня волнует... что молодость скоро пройдёт, а у нас всё ещё долги и не выкуплено имение.

— Я хочу быть обычной женщиной. Учительницей грамматики в школе. Работать, как другие. И никому не быть обязанной. Да, не те деньги... не те люди кругом. Но вот... как я устала от этих толстосумов, — и Амалия картинно провела пальчиком по шее. — Под завязочку.

— С твоим умом ты всего добьёшься. Только одно меня волнует... что молодость скоро пройдёт, а у нас всё ещё долги и не выкуплено имение.

— Паша, мой ум на службе других интересов.
— Завтра вечером задержи, пожалуйста, задержи... его здесь подольше. Если не выйдет у тебя, выйди у меня... Но он не должен вернуться раньше пяти часов утра. За это время я смогу убедить Женечку, что я тот, кто спасёт её.
— А если она умрёт?—с опаской спросила Амалия.
— Так тому и быть! Но пусть она умрёт только после того, как станет моей женой.

Стромынин приехал с новостью. Амалия ждёт Михаила и плачет. Она горько плачет. Она не знает, как ей быть.

Женечка стало лучше. Она даже вышла на террасу номера обедать; правда, Дузе закутал её в плед, так что видна была одна голова в пышных кудрях и бледное лицо без кровинки.

Морской ветер принёс свежесть. Жара пекла мостовые, издалека переругивались извозчики, шуршали шинами и сигналили автомобили, и торговки носили караимские лепёшки на широких разносах. Звуки простой жизни и суеты проникали сюда, под портики избранных. Женечка тупо и стеклянно смотрела сквозь отца, Дузе подливал ей травяной чай с мёдом и время от времени щупал пульс.

Михаил читал газету. Но через газету взглядывал на Стромынина, пьющего кофе.

Стромынин, в прекрасной форме, весь начищенный, набритый, с подкрученными кончиками усов чистейшего золота, с прозрачно-зелёными выпуклыми глазами, с покрасневшими от горячего питья губами, мог бы послужить отличной натурой какому-нибудь художнику. Под его рубашкой и жилетом угадывалась гладкая и ухоженная мускулатура, пропитанная ежедневными тренировками и заботой.

Михаил ждал, когда Дузе уведёт Женечку.

Но Стромынин неожиданно поставил чашечку на блюдце. Женечка вскинула на него умоляющие глаза.

— Женечка, а вам не говорил ваш папá, что завтра он едет сопроводить одну свою знакомую до Симферополя?

Михаил, поперхнувшись слюной и чаем, откинул газету.

— Нет! Я ей не говорил, да и какое это имеет значение?

Женечка положила свою ручку на отцово запястье:

— Да... мне Павел Леонардович сказал, что ты тут познакомился с учительницей грамматики и хочешь её мне представить, но она должна завтра принять свою больную матушку из Симферополя, и ты обещался их тоже навестить на ауткинских дачах, где она живёт. Можешь не спешить, ехать к этим дамам, тут побудет со мной доктор Дузе, и если что...

Михаил замотал головой.

— Э... да... мне надо сейчас... мне... Стромынин!— рывкнул он и вылетел из-за стола.

Стромынин улынулся Женечке. Доктор Дузе выбежал за Величалиным.

— Михайла Емельянович!— крикнул он своим немного женским голосом.— Погодите!

Женечка скинула плед с плеч и протянула обе руки Стромынину, тот упал ей в ноги и поцеловал колени.

— Милый мой... люблю... люблю...— шептала Женечка, склонившись и целуя его курчавые волосы, разобранные на пробор.— Пусть, конечно, он едет! Пусть! А вы... и я побудем тут.

— Стромынин! Дьявол!— донеслось из глубины комнат.

Стромынин ещё раз доверительно взглянул на Женечку.

— Вы только слушайте меня, моя этуалечка, и всё преотлично выйдет.

— Да! Хорошо! Так!

Стромынин поцеловал Женечкины обе руки и вышел скорым шагом.

Женечка обратно завернулась в плед и пошла к себе.

Величалин чиркал спичкой и не мог зажечь сигару. Он волновался. Дузе стоял у входа в гостиную как во фрунте.

— Так вот!— крикнул Величалин, откинув на комод сигару.— Дама очень мне мила. Но она... я о ней ничего почти не знаю. Я не могу её знакомить с Женечкой.

— Позволь!— усмехнулся Стромынин.— У тебя есть сколь угодно времени на то, чтобы с ней познакомиться. А потом решить наш план.

— Сколько же времени у меня есть, если она мне откажет сразу?— спросил Величалин уже добрее.— И откуда я возьму точную уверенность, что это та самая дама?..

— Ты, Мишель, убедишься в этом сразу же,— обрадовался Стромынин.— Тотчас же, как останешься у неё.

Дузе недоверчиво хмыкнул.

— Позвольте, Павел Леонардович, я как будто вижу, что вы имеете какую-то выгоду в том, чтобы Михайлу Емельяновича... сосватать поскорее... некоей даме.

— Да!— весело сказал Стромынин.— А почему бы и нет? Ему что, бобылём и дальше сидеть? Ему что, вас повторять?

В эту минуту вошла Женечка, неся плед на плечах, как плащ.

— И я не против!— сказала она.— Пусть папенька... едет за этой милой дамой. Я уверена, что она милая.

Величалин покраснел и, подойдя к Женечке, с чувством поцеловал её в обе щёки.

Стромынин сбегал за лошадьё, чтобы Михаил Емельянович поехал верхом. Величалин приказал

купить фруктов, вина, мяса и битой птицы на базаре и привезти это всё к даче Чекалиной вперёд его приезда. Вся снедь отправилась тотчас же. Но Михаил пошёл в цирюльню и только на другой день, порядком раздражив этим Стромынина, собрался ехать.

Женечке стало почти уже совсем легче. Она даже кашляла редко. Дузе уверял, что она идёт на поправку, и Михаил решил ещё день подождать.

Женечка никак не ожидала, что встреча её со Стромыниным так надолго откладывается. Но Михаил заставил себя ждать и Амалию, и всех вокруг.

Наконец, вдоволь измотав всем нервы, он решился.

— Ну, как я? — спросил он, прогуливаясь перед Женечкой, одетый как пират для абордажа.

Женечка улыбалась.

— Думаю, что ты очень красивый. И волос у тебя блестящий, и глаза горят. Весь ты как вороной конь без седла.

— Откуда ты нахваталась таких пошлостей? — крикнул на неё Михаил. — Вот я твоего Дузе со Стромыниным... уволю и найму тебе помощницу. Бабку.

— Ой, нет! Только не доктора Дузе! — хихикнула Женечка.

Стромынин практически уже не выезжал от Величалиных. Ему было бы совсем легко уговорить себя остаться, но ему никто не предлагал пока.

Наконец Михаил, перекрестившись, поцеловал Женечку в тёплый лоб и выехал в сторону Ауток.

Амалия ждала Михаила со смешанным чувством. Первое — ей хотелось его убить. Второе — отомстить ему как мужчине. Наговорить всяких гадостей и пошлостей, выгнать вон и перестать даже думать о нём.

Она волновалась, что он не едет, пока к даче не подъехал извозчик с корзинами и с гостинцами и кривой татарин не стал всё это снимать и заносить в дом.

— А где господин? — спросила растерянно Амалия. — Будя, будя... — пыхтел татарин.

— Он едет следом?

Татарин жал плечами.

Амалия ждала до вечера, приказала готовить из гостинцев ужин, сама же и села за стол, одинокий стол в третьем уже часу утра.

Величалин не ехал.

Она не ложилась спать, чтобы не пропустить его приезд. Волнение брало верх над её самообладанием.

Она постоянно перереживалась и переобувалась, то красила, то стирала лицо, то завивала, то распускала волосы. Надо ли говорить о том, что в доме стояло всё вверх дном, там постоянно ждали

гостя, который с минуту на минуту должен был прибыть и не прибывал двое суток.

Наконец, потеряв надежду, раздосадованная Амалия забросила туфли и нарядные платья, надела ночную рубашку, завила волосы папильотками и поняла, что Стромынин её проучил, а Величалин и вовсе обманул.

Но за что?! За что они так поступили?!

В час ночи тихо звенькнул колокольчик. Амалия спала так, что ничего не слышала, прислуга так же. Конь тихо пришёл со стороны города, принёс всадника, и только собака пару раз гавкнула и, зевнув, убралась в будку.

Величалин с ловкостью акробата перескочил через невысокую ограду, хоть и был тяжёл и довольно неповоротлив.

Он хрустел песком дорожки, но понимал, что его ждут, и хорошо, что он это понимал. В связи с этим он был осторожен.

— Мадмузель Амалия! — позвал Михаил, стучась тихонько в дверь.

После сонной возни и чуть слышного стукотка в сенях вышла девушка, заспанная и напуганная. — А барыня спит! — с вызовом сказала она. — Она вас до-о-олго ждала! Езжайте домой!

— Чего? — не удержался Михаил. — А ну зови её сюда.

Девушка с ненавистью хлопнула дверью и пошлёпала босыми ногами на второй этаж.

Амалия спала ничком на кровати, в белом платье с кокетливыми синими бантиками и с разметавшимися, накануне завитыми кудрями.

— Барышня! Барышня! Тут этот пришёл! — девушка подкралась и покачала её за плечо.

— Кто? Что? — вскочила Амалия. — Кто пришёл? Куда? Тьма-тьмущая!

— Проситесь в гости.

— А! Ночью! Ну я ему!

И Амалия, опрокинув бокал красного вина, приготовленного на тумбе для неё и для гостя, слетела вниз.

Она откинула дверь, хлопыстнув ею по косяку с такой силой, что она могла бы треснуть.

— Где он есть? — взвизгнула Амалия. — Что он из себя такое думает?!

Она выбежала за калитку, в темноту.

В этот момент она услышала лишь тихий, но приближающийся конский топоток и ощутила, как одна мягкая и сильная рука больно подхватила её под мышку и забросила куда-то вверх.

Девушка выскочила следом, не в силах сказать ни слова, она так и стояла на дорожке перед калиткой с круглыми, как две перламутровые пуговицы, глазами, пока её барыню уносили конь и всадник.

После перевала, который Михаил Емельянович проскакал почти на ощупь, зажмурив глаза и доверившись быстроте тяжёлого и мощного коня,

с исцарапавшей его Амалией, переброшенной через два колена, шоссе уходило дальше вдоль берега, пришлось свернуть на яилу, прямо за грядой.

Михаил не знал дорогу. Он только взглядывал с высоты, как едва заметными огнями играет вдалеке город, а напротив него вздыхает круглым боком море глубокого фиолетового цвета, и над ним ни облачка, а только россыпь звёзд. И только крик цикад в колючей поросли яйлы нарушает покой, стискивающий даже страхом.

Словно бы услышав его, Амалия несколько раз ударила его по коленке:

— Ну же! Трус! Вы трус!

Михаил остановил коня и стащил Амалию с седла.

Она застонала от боли, проехав по седельной луке рёбрами, и упала на колени.

— Вот ответ ваш миру! — всхлипнула Амалия. — Ваш ответ всем! Только вы в нём царите! И нет больше никого, да? Любого человека вы можете взять и обратиться себе в услужение!

Михаил, держа коня за узду, бил хлыстиком себя по голенищу сапога и понимал, что и гнев, и зло его спали, как пелена, а осталось что-то щемящее и нежное, что вливается в душу с каждым новым словом Амалии.

— Все кругом вам потакают и обслуживают вас! Но поглядите... на меня и подумайте, что может быть и другое!

Михаил отвернулся, пряча лицо за конской шеей, и с трудом гравировал на языке слова, которые должен был во что бы то ни стало произнести.

— Везите меня немедленно домой и забудьте про всё, что вы себе надумали, — крикнула Амалия и, пошатнувшись, встала, отряхивая пыль и колючки с платья.

Но они так пристали к ней, что она заплакала и закрыла лицо руками в отчаянии.

Михаил отошёл к низкорослому кусту терпентины и привязал длинный повод за кривой ствол, поправил смоляные волосы ладонью и, щёлкая кнутиком по сапогу, подошёл к Амалии. Он обнял её своими огромными руками, и она потерялась в них, всё продолжая плакать.

— Можешь и дальше плакать. Только пусть эти слёзы будут последними, — сказал Михаил и поцеловал Амалию в надушенную голову. — Эта земля так щедро дарит и так безжалостно отнимает самое дорогое... Но я тебя отдавать не хочу.

Амалия затихла, и дыхание её стало ровным. Она оторвалась от груди Михаила Емельяновича и подняла глаза на него.

— Вы же меня совсем не знаете... Почему вы верите мне? Зачем?

Михаил уложил её голову обратно себе на грудь мягкой ладонью.

— Верю... тяжело жить во лжи, и не хочу больше.

Амалия вздохнула, и столько в этом вздохе было облегчения и счастья, что и Михаил сам беззвучно заплакал, всё ближе прижимая к себе Амалию, всё роднее, всё горячее.

Дузе не оставлял Женечку до глубокого вечера. Стромынин сбегал домой, переоделся, выкупался в ванной, завил усы, во дворе на глазах у изумлённых отдыхающих сделал несколько подъём-переворотов на железной трубе, вкрученной в две столетние сосны. После он, не зная, что делать, побегал в итальянскую аустерию и выпил флакон лимончелло.

«Господи! — думал Стромынин. — Всё валится к чёртовой бабushке!»

Крутился беспощадный сор в его голове и превращался в адскую воронку. Из этого сора рождались слабые мысли, но ни одна из них не успокаивала Стромынина. Если сейчас Михаил женится на Амалии, это будет прекрасно. Но ещё лучше, если женится Стромынин на Женечке. Она вскоре умрёт, а он останется наследником.

Но Женечку жалко. Сильно жалко. Она так тянется к нему, что и в нём что-то трескается.

Стромынин расплатился и, поглубже насунув соломенную шляпу, пошёл к «Лондону».

«Вот ещё, буду я лазать по балконам... — подумал он. — Тут всегда народу прорва...»

И он, обойдя гостиницу, поглядел на балкон Величалиных.

Дверь была приоткрыта, и из неё тянулся по ветру лёгкий кружевной тюль.

— Ах ты, Господи! — прошептал Стромынин. — За что мне такие наказания?

Он вошёл в номер. Женечка обедала с Дузе. Как только она увидела его, сразу поднялась, и салфетка упала с её коленей на пол. Женечка, казалось, вспыхнула, но только глаза её заблестели.

Дузе чопорно поздоровался и пригласил к чаю. — Нет, я только что поел, — сообщил Стромынин. — Я хотел бы прокатиться с Евгенией Михайловной до ближней долины... там хорошая дорога... я нанял фэтон.

Дузе вытянул губы уточкой. — Н-ну... Михайла Емельянович не велел ей никуда без него ходить, а покуда его нет!

— Я прошу вас! — вскрикнула Женечка. — Пожалуйста, отпустите... я... хочу подышать.

— Извольте, сейчас пообедаем и поедем. Женечка упала на стул.

— Ну что вы, Теодор Карлович! Ну зачем вы так? — Вы неприлично ведёте себя при мужчине, — сказал Дузе, вилкой указывая на Стромынина, стоящего у дверей.

— Помилуйте... — вздохнула Женечка. — Вы не понимаете...

— Вы очень нездоровы! — строго сказал Дузе. — Но я хорошо себя чувствую!

— Неприлично!

Стромынин кашлянул в кулак.

— Позвольте нарушить ваше... вашу беседу... но!
Хочу заметить, что вы, Дузе, тут только работник.

— Что вы сказали? Как? — прищурившись, спросил Дузе и наколол кусочек сосиски. — Работник?
— Да! — сказал Стромынин. — И вы работаете на Михаила Емельяновича!

— И вы работаете на него же, — пожал плечами равнодушный Дузе.

Стромынин замер, не зная, что ответить. Лицо его слегка перекопилось от скрытого гнева.

— Господа! Господин доктор, господин Стромынин! — сказала с жаром Женечка. — Я не слушаюсь папу. Но тогда, если ехать до долины нельзя, мы поедемся до Ауток. Доктор... Я проедусь. И вернусь... Павел Леонардович меня свозит прогуляться туда и назад.

— Со мной! — сказал Дузе.

— Ах, какой у вас цербер! — фыркнул Стромынин.
— А у вас нет такого, — кивнул Дузе, словно издеваясь.

Женечка встала, стукнув стулом о ковёр.

— Доктор! Я поеду без вас, — решительно сказала она, и от волнения затрепетали заложенные за булавку бусики на её груди.

— А если вам станет хуже?

— Если вы меня не пустите, мне точно станет хуже! — топнула Женечка ногой. — Я буду волноваться и снова заболею!

Дузе вздохнул и покачал головой.

— Положительно... есть две непобедимые беды в этом мире. Наша конечность и сердце влюблённой девицы.

Женечка бросилась к доктору и поцеловала его в плешивую голову.

Стромынин ликовал. Он дождался, когда Женечка наденет дорожное полосатое платье из камки и возьмёт зонтик. Вывел её под руку и помахал застывшему на балконе Дузе.

Дузе знал в глубине души, что хорошим этот вояж не кончится, но у него всегда были нужные слова под языком. Он умел лечить и словом.

— Конечно, вы понимаете, что мы едем ко мне? — добавил Стромынин и громко засмеялся высоким своим фигурным смехом, как умел только он.

— Понимаю, — выдохнула Женечка и обняла его одной рукой, обдав ароматом брокаровского цветочного одеколона.

— У меня мать цыганка, а отец из дворян. Но я молчу об этом. Не хочется лишний раз разводить пересуды.

— А почему здесь? Почему в Москве не осталась?

— Ах, вам всё скажи! Да потому что... тут... рыбное место.

— А, вот что!

Поджидая Амалию в нижней комнате, где были опущены портьеры, Михаил скользил взглядом по обстановке. Она была изящной и местами дорогой. Серебро, шкафы с фарфоровыми фигурками.

Михаил повернулся на выложенных каблуках и пошёл по скрипучей узкой лестнице, улавливая путь Амалии по запаху духов. В протяжённом коридоре он увидел её интересные тувельки с пушками гаги и приоткрытую дверь, откуда доносился совершенно ручейный голос, поющий песню.

Михаил оторопел. Это была песня, что пела над колыбелью Женечки Меланья Филипповна! Та самая... Но тут она шла ласково, про себя, будто огляив каждый предмет и входя в слух любого случайного слушателя.

Михаил притворил дверь, уронил на пол хлыстик и почувствовал горячее касание давно забытого чувства; к нему прильнула женщина и со знанием дела принялась расстёгивать его шлейки и подтяжки, всё так же напевая:

Вьюн над водой,
Вьюн над водой,
Вьюн над водой
Завивается...
Казак молодой,
Казак молодой,
Казак молодой
Собирается...

Михаил сглотнул слюну, ухватил эту странную и уже заведомо, кажется, родную женщину своими большущими руками, как клещами, вытянув из неё чуть слышный стон, и пошёл, как слепой, куда-то вперёд, к белеющему островку постели, залитому светом луны, прорвавшим вырезные тюли и узорчатым покрывалом лежащим на расстеленных одеялах.

Стромынин жил от «Лондона» не так далеко. Можно было сколько угодно бегать из дома в дом. Но он боялся приводить к себе Женечку. Так было неудобно и скромно устроено его холостяцкое жильё.

Он нанял номер на Дарсане, в гостинице «Ялта», где от центра не долетало звуков автомобилей и вечной толчеи.

Покружив на фаэтоне по городу, Стромынин вывел Женечку у одного из переулков, и они поднялись наверх, к Дарсану.

— Теперь мы меж двух рек, парим над городом, — сказал Стромынин, укрывая вуалью лицо Женечки и заводя её в холл.

— Но мы же доедем как-нибудь до бывшего пристанища несчастной Ифигении... — вяло спросила Женечка, утомлённая подъёмом.

— Да! Непременно!

Стромынин завёл Женечку в полутёмный номер и почувствовал в её руке какое-то напряжение, словно она сейчас вот-вот вырвется и убежит.

Стромынин посадил её на край красивой деревянной кровати и, подойдя к окну, задержал его. — Не надо... — произнесла Женечка. — Открой окно, Павел... Я хочу видеть... всё...

Павел Леонардович снял с себя одежду, бросил на высокое кресло у окна и, встав на колени, стал разматывать хлыстики сандалий Женечки.

На нём остались только исподние панталоны с рядом серебряных пуговок, которые Женечка тут же принялась считать, чтобы не расплакаться.

Она смотрела на него, как будто сквозь, непонимающим и пустым взглядом, как будто всё, что с ней произошло до этого и будет происходить дальше, — сон, видение её больной и отчаявшейся души.

Напротив, Михаил Емельянович остался у Амалии на два дня. Все эти два дня он был совершенно спокоен, потому что от Стромынина присылались записочки, что всё отлично, Женечка гуляет, Дузе ворчит, но не ругается, что присмотр и лечение оказываются в полной мере.

Михаил совершенно потерял голову. Он через горничную слал Стромынину вести, чтоб тот не грустил, а пил за его здоровье, чего он и сам делает. Он же с Амалией, конечно, пил, но не находился в пьяном угаре, а в любовном, напротив, находился. Все два дня они не спускались из дома во двор, еду требовали через дверь, и, к счастью, в дачных номерах были ванна и электричество.

Амалия за это время кое-что поняла. Во-первых, что есть ещё добрые люди на свете. Во-вторых, что она станет даже женой, потянет эти вериги, но Величалина не пустит. А в-третьих, она задумалась, а не пора ли родить сына. Ему сына, чтобы он уже прочно сидел подле неё и обожал её.

В любви Величалин оказался совсем не таким, как снаружи и при свете. Да, явно читалось во всём, что он избалован женщинами и что было их у него достаточно.

Но не утерялось желание поклоняться женщинам. Может быть, да, он всегда им поклонялся, но Амалия никогда не испытывала такого отношения к себе. Михаил Емельянович разом превратил её в царицу, а потом эту царицу взял себе и не собирался никому отдавать.

— Вот наиграешься мною и бросишь... Наигрывалась ведь...

Амалия лежала на постели и ловила через вырезные цветы занавесок на себя причудливые солнечные печати. Они дрожали на её бархатном теле, бережно охраняемом от загара. И в свои годы она была свежа, как только что сорванный с куста цветок июньского жасмина. Волосы её немного запылились в этом вынужденном плену и уже первобытно пахли рекой, землёй и потом. Михаил же не мог успокоиться и снова и снова набрасывался на неё и не отпускал от себя, словно тоже хотел привязать её к себе.

— Тобой разве можно наиграться? Теперь буду горевать, что у тебя такой трудный характер... Ничем тебя не приручишь...

Величалин также пребывал в самом расцвете, он был высок ростом и широк в плечах, как и его дед и отец, мог ударом кулака сбить с ног быка или лошадь. Никто в его роду не служил, и он сам не знал, как служить, не знал над собой никакой власти. С чинами он любил и умел договариваться, образование ему дали не хуже, чем дали бы в самом именитом дворянском доме. Хотя уже Михаил Емельянович понимал, что образование не есть счастье, и даже ученье — не свет.

Наоборот, все беды и печали от многого ума. Тяжелее становится человек, не умея выпускать память свою на волю, не принорвясь сдерживать бурные мысли и изощрённые мечтания. Только умные люди могут мечтать и постигать хляби небесные, но только мудрые могут удержаться и не воспарить дальше. А дальше-то, полагал Михаил Емельянович, выше-то и перо можно подпалить, и сам воск расточится, и сложатся крылья от боязни высоты.

— Далеко мне не летать, себя знать не хочу! Хочу мир обнять и стать своим в нём. А чего знаю, того не скажу, довольно с меня и того, что я уже есть...

Рассказал Михаил и про жену, первую свою радость и болезнь. Рассказал и о том, как долго он терзался, что выдумывал. И про недуг Женечки рассказал.

— Так отчего ты мне не сказал сразу? Надо было милостиво рассказать, и я бы стала доброй... — мурлыкала Амалия. — Разве я зверь какой, не пойму, что ты с ума сходишь? Что Стромынин... ведь он...

И она осеклась и, чтобы Михаил ничего более не спросил, прыгнула на него и повалила снова на перину, которую они давно стащили на ковры.

Михаил одно время потерял счёт времени и, выпавшись через двое суток, взглянув на прельстительную Амалию рядом, на её высокую грудь и заласканное им до синяков тело, встал с постели и быстро оделся.

Амалия открыла глаза.

— Уходишь? — спросила она тревожно. — Надолго?

Михаил застёгивал рубаху.

— Стромынин, конечно, знает своё дело... но я волнуюсь, что он и Женечка... Я понял сейчас, что всё дурно, дурно... Нельзя их оставлять вместе. Вот так, как ты сейчас... вчера... смотрит и он на неё. Вы не родня, часом?

— Н-нет... ну что ты... я и Стромынин... — отмахнулась Амалия, спрятала вспыхнувшее лицо в подушке и добавила: — Я буду тосковать по тебе...

— Нечего тосковать. Собирайся... До вчера тебе хватит времени? Я сниму тебе номера недалеко от «Лондона». А! Сниму тебе в «Елене»... Там отлично говорят... Ну что? Познакомлю с Женечкой.

А потом ты скажешь ей как-нибудь... если она сама не догадается, что ты новая мать её.

Амалия приподнялась на руках:

— Кто? Я? Ты что? Так вот?

Михаил оделся и оглаживал щетинистое лицо перед большим висячим зеркалом.

— Да! Скажешь, что любишь меня. Что лечилась тут, потому что болела... И преподавала грамматику... потом...

— А чем я болела?

— Ну... я не знаю... скажи, что кашляла. Ничего! Придумаем потом... — вздохнул Михаил. — И вот ещё... или я уезжаю сейчас... или я не смогу...

Он вышел.

Амалия упала на спину и запустила в волосы обе руки.

— Боже мой! Что я буду делать?! Это бред... бред... Анюта! Запри все двери и никого не пускай. Беги ко мне!

Уже на следующий день Женечка стала вести себя очень гордо. Да, она была польщена и сражена любовью Стромынина. Ей казалось, что она одарила его милостью. Он же заверял её, что это так.

Женечка вернулась домой к вечеру, прошлепала юбками мимо Дузе, который сразу вскочил, что-то уловив, и вбежал к ней в комнату, не дав ей ещё даже снять шляпку с перепутанных и кое-как заколотых волос. Стромынин очень старался их причесать как они были, но, увы, это оказалось ему не под силу.

— Что вам надо, Теодор Карлович? — уверенно произнесла Женечка, отворачиваясь от него к окну.

— Вы где столько были?! Я весь извёлся! — вскричал Дузе. — Я бог весть что думал! А ваш отец? Он бы меня тотчас выгнал бы!

— Пошли бы к доктору Виноградову... — бросила Женечка. — Он вас возьмёт чахоточников лечить в санаториум.

— Что вы делали там? — робко спросил Дузе. — У вас всё хорошо?

Женечка вдруг повернулась к нему, и лицо её стало злым и некрасивым. Тонкие губы искривились от злости.

— А, ещё и вы! Что вам ещё подать? Что вам открыть? У меня может быть моя жизнь? Моя, не тронутая никем? Ни папá, ни вами! Идите!

— Вам нужно выпить молока! Принесли парного! Срочно! — поник Дузе.

— Отстаньте с вашим молоком!

Дузе подбежал к окну и раздёрнул портьеры. С моря донёсся хохот чаек.

— Не закрывайте окно и идите на балкон! Сейчас же! Вам нужно лечиться, а вы... вы... глупая девчонка!

Дузе выбежал прочь, плохо скрывая негодование.

Когда он вошёл обратно, испугавшись, что Женечка вовсе не спешит исполнять его приказы, она уже лежала на постели и спала, одетая и даже в перчатках.

Стромынин находился в блаженном состоянии любви ко всему миру.

Он лежал, как мёртвый, на постели и смотрел на потолок. Там нерасторопную муху доводил до отчаянного жужжания паук. Крик мухи неприятно щекотал нервы, призывал бросить в паутину тапочек или скомканный платок, да что угодно, но Стромынин наслаждался звуком жизни. Наконец, захлебнувшись, жужжание смолкло навсегда. Стромынин словно почувствовал, как паук высасывает из неё жизнь, как щёлкает полуободами свинцовых челюстей, чавкает и заглатывает внутрь себя свежий, тёплый и текучий субстрат.

Но он ничего не чувствует! Ничего! Нет удовольствия, нет борьбы, нет волнений и алкающей жадности. Сильный победил слабого — и что такого?!

Ах, как хорошо! Стромынин теперь женится на Женечке, Женечка теперь помрёт, а он уж как-нибудь разберётся... Но точно жизнь его будет другой! Сытой, без бедности и силков, без сетей и словесных завихрений, без ежедневной думы, что делать, кого отыскать... Поистине — счастье!

Он поиграл пальцами ног, послушал, как кухарка ругается с татаринном-рыбаком на кухне, улыбаясь и наслаждаясь тем, что воспоминания о Женечке щекочут его волнами, идущими по всему телу.

Поясница ныла, глаза сами собою закрывались от томящей истомы. Ругань кухарки шла по кругу. Но вдруг в дверь кто-то грубо стукнул, и Стромынин вскочил как ошпаренный на кровати. «Неужели... это Величалин?... Так скоро?»

Нет, это был не Михаил Емельянович. Это был Дузе.

Он вошёл, тихо проскользнув мимо Стромынина, и сел на скамейку у стола, натирая белой перчаткой резной мундштук.

— Павел Леонардович, простите, что без предупреждения... Но таковы обстоятельства, пока Михаила Емельяновича нет... рядом... Женечка отдыхает, она отчего-то крайне утомлена... Я думаю, надо будет просить Михаила Емельяновича отвезти её в санаторий. Она нарушает режим. И вы тому причиной.

Стромынин плюхнулся обратно на узкую кровать, издав лязгающий звук пружинами.

— Ничего! Ничего страшного в этом нет. Мы просто любим друг друга, и я непременно сделаю ей предложение, и она его непременно примет.

Дузе спрятал в пушистых усах улыбку.

— Ваше предложение заведомо ей навредит. Вы знаете, что если не принять её сейчас лечить...

не оградить от волнений, не дать режим покоя, питания и нервного отдыха, она вряд ли переживет.

— Что вы болтаете?!— съязвил Стромынин.— Как она может умереть?

— Вы лукавите, Павел Леонардович. О её положении здоровья вам не хуже меня известно. Вы не просто так прилипли к барышне.

— А вам что?— приподнявшись на кровати, спросил Стромынин.— Вы мне не родной отец, чтобы читать ваши докторские полигимнии. Вы только доктор! Что же, прикажете ей не любить меня? А как? Пригрозите пальчиком? Так? А я тоже манить умею, тоже пальчиком. Поманю, и она возьме ног моих ляжет.

Дузе усталился на крашенный пол, покрытый дешёвым обтрёпанным ковром.

— Вы ещё устройте свою судьбу, но не трогайте Женечку. И не надо напирать на неё...

— Я не напирю!— крикнул Стромынин в ярости.— Я её... люблю! Я готов быть с нею до конца!

— Ну, знаете... А что, если она вас переживёт?

Стромынин спрыгнул с кровати, подошёл и распахнул окно.

— Уходите!— зашипел он.— Я не могу больше слушать ваши эти... сентенции. Мне противно, что вы считаете, что до всего можно достать голосом разума. Не до всего! Далеко не всё откликается на голос разума.

— Разум бывает разный. И мотивы тоже. А вот вы, как начётник, набрались умных слов, а думать не научились. Ауф фидерзейн, Павел Леонардович, мне жаль, что вы так недалеки.

Дузе тихонько покинул комнату. Стромынин сверху хорошо видел его немного стариковскую походку, жёлтую шляпу со значком Тюрингии в виде эдельвейса, как Дузе перешёл на другую сторону улицы, сел в омнибус и помахал ему твёрдой ладонью в окно, заметив, что за ним следят.

Стромынин обратно бросился на кровать, прикрывшись подушкой и в верчении мыслей забылся сном лишь через час, весь измучившись от крайнего истощения души.

Величалин ехал обратно с победой, как, наверное, ехал в помпе какой-нибудь римский император. Да, не хватало украшенных арок, слонов и лавровых венков, визгливых женщин и аплодирующей черни, красного ковра, выпущенного под ноги его иноходцу.

Великая сила наполняла каждую жилку его тела. Он припустил коня вдоль дороги, повернул на осьпь берега и пешком спустился вниз. Конь, почуяв воду, зафыркал.

Тут к воде можно было подойти, и она была спокойна и ленива. Михаил разделся и кинулся в море, поманив коня. Тот, пробуя пушистыми губами воду, прыдал головой и тоже постепенно

зашёл и встал как вкопанный. Может быть, его никогда не купали, может, что-то ему почудилось на дне.

Но Михаил поплыл, размахивая руками. Волны переплёскивали его голову, когда он нырял от совершенно сумасшедшего, нового и радостного ощущения. Ему хотелось и птицей парить, и рыбой ходить, но он сделал несколько сажений и повернул обратно, видя, что конь испуганно пятится назад из воды и норовит бежать наверх.

Михаил ещё раз, набрав со дна мелкого песка, вытер шею и грудь, оторвав от камня приросший пучок водоросли, потёр под мышками, нырнул, распространяя брызги ногами, и, успокоившись на этом, смеясь и стыдясь себя в таком состоянии, вышел на берег.

«Ну, погоди же ты у меня! Жизнь! Ты чудо! Ты должна покориться мне!»— пел над его головой степной каюк, катаясь на волнах, и Михаил думал о том же.

Выехав на шоссе, он приударил коня, отрянул короткие, в «польку» остриженные волосы, придававшие ему сходство с удалыми сечевыми казаками, и погнал вперёд, домой.

Он виновато заметил, что о Женечке думал за эти дни слишком мало... Но, может быть, и она не думала о нём? Стало быть, так надо... что будет, то и будет.

Приехав в город, он рассчитался за коня на станции и пошёл пешком, с хлыстиком в руках, к гостинице. Он издали увидел Женечку на балконе, живую и невредимую.

Она была укрыта по колено пледом, а родное её голубое платье с кружевом на груди нежно трепетало от горячего ветерка, залетавшего под полог качалки.

Рядом сидел Дузе и очинял карандаши перочинным ножиком.

— Эй! Эй! Господа мои!— крикнул им Михаил и чуть не угодил под автомобиль.— Да что вы тут, окайные, разъездились?!

Женечка подняла руку и улыбнулась.

Жива? Значит, счастье стало огромным!

На углу гостиницы Величалин нос к носу столкнулся со Стромыниным.

Стромынин покраснел и отвёл глаза.

— Ну! Дружочек мой! Всё ли ладно? Ах... как я радостен!— вскричал Михаил и ударил Стромынина по плечу.

— Надеюсь... что так,— отозвался Стромынин.— Тут всё было чинно, добро, благородно...

— Хорошо! Даже отлично! Завтра Амалия придет сюда! Мы будем обедать в аустерии! Тебе полагается туда сходить и договориться.

— Тотчас схожу. А вообще, как энигма? Ничего себе?— спросил Стромынин, криво ухмыляясь.

Михаил вдруг схватил его за грудки, двинул в стену гостиницы и прямо в лицо громово рыкнул:

— Моя! Моя, Стромынин. Я своё не отдаю.

Стромынин закивал головой:

— Понял. Тогда я сейчас не стану заходить. В аустерию...

— Беги,— грозно буркнул Михаил и последовал дальше, поигрывая хлыстом.

— Меня никогда не любили. Я поняла, что любовь— для избранных людей. Она как дар, как чудо. Нужно ждать того, кому можно открыть своё сердце. Но малейшая эмоция... это щель в ту самую дверь... за которой прячешься ты, слабый, смешной человек. И злая, и добрая эмоция одинаково тебя раздает. А потом приходят мелочные люди и... как вши на дохлой собаке... подло пытаются укусить, взять последнее... Нечестных много... Я страдала от них, но теперь это позади, и я более не хочу никого обнадёжить... или одарить... По делам их воздам им. Или как, Михайла Емельянович, вы считаете, что я не права, всё ещё считаете меня слишком замудренной?

Михаил, протянув через стол руки свои, перебирал в пальцах пальцы Амалии. Он перебирал их почти что с хрустальной осторожностью.

— Давайте я вас больше не буду звать, как... Так... Буду звать вас Зинаида.

— Зовите...— позвоительно улыбнулась Амалия.— Но лучше мне пока для вас остаться Амалией...

— А почему?— ласково спросил Михаил, и его широкое лицо озарила улыбка, делая его ещё шире и вместе с тем добрее, подпустив морщинок к уголкам глаз.

— Вы такой добрый человек... хочется, чтобы вам было хорошо,— сказала Амалия виновато.

Михаил и сам это знал. Он действительно страдал от собственной изрядной доброты, но ничего не мог сделать.

— Но вы ведь познакомитесь с Женечкой?

— Да... Но могу ли я?

— Можете. Теперь уж точно можете. Знаете, Ам... Зинаида, ведь такое, как у нас, бывает редко. Знаете?

— Знаю. Сама дивлюсь.

— Так как вы думаете, поверят ли нам?

Михаил перенёсся мыслями в Москву, где было всё другое, чем здесь. Велась и утверждалась своя жизнь, особенная и устроенная совершенно иным способом, иными правилами руководима. Вспыхивало и гасло в нём ощущение недосказанности, а он хотел знать всё об Амалии, но она отчего-то таилась.

— Ты можешь называть меня как привык. Я давно уже забыла своё имя по метрикам. Но это несколько не сделало меня иной. Только приходится лукавить перед другими людьми. Спроси меня... зачем. Нет! Не спрашивай! Я отвечу, зачем я лукавлю. Мне так легче переносить удары судьбы.

Михаил поцеловал её руку.

— Здесь колечка не хватает,— прошептал он.— Маленького колечка, уютного, моего знака... Пойдём к Залесскому, поглядиам, чем он там торгуёт.

Амалия вдруг изменилась лицом. Губы её задрожали, и тёмные глаза мгновенно налились слезами. Но так красива была её печаль, что Михаил не смог больше удержаться, взял её на руки и вынес из ресторана на улицу, лишь бы она обняла его за шею, прикоснулась к нему сейчас же, в ту самую минуту.

Они ушли на укромную улочку под платаны, где не ходили отдыхающие, а пробегали лишь мальчишки и местные, таща сети или корзины с инжиром и шишками на растопке самоваров, и долго сидели молча. Амалия гладила его по лицу, а он смотрел на неё и не мог оторваться, словно она была видением и сейчас же грозилась улететь обратно в эфир.

— Ты ведь меня не оставишь?— жарко сказал Михаил, запутываясь в её волосах и лентах.— Пожалеешь меня? Вот есть такие существа... лами и вампиры, я слышал от Женечки, она как раз читает барона Олшеври... Так представь... что они пьют кровь и губят своих жертв. Ты же не выпьешь мою кровь, навка, колдунья? Нет же? Сердце моё и так твоё...

Радуюсь тому, что Женечка уже выздоравливает, хорошо ест и солнце идёт ей на пользу, Михаил решил не дожидаться и сразу познакомить её и Амалию, которую никак не мог привыкнуть называть Зинаидой. Да ей и не шло это имя. Такая утончённая красота, особенно после того, как Величалин одел её в готовые платья, купленные в стеклянных магазинах мод на «променаже», Амалия заискрилась, как отчищенный драгоценный камушек.

Величалин страшно гордился, покупая ей платья.

— Можно я буду звать тебя Амалия?— спросил он, робко прижимая к себе локоток своей красавицы.— А как же Зинаида?— остановившись перед магазином, будто невзначай, вопросом ответила она.— Тогда уж называй Амалия Леонардовна.

— Ха... у вас со Стромыниным что, одинаковое отчество?— улыбнулся Михаил, и тут же лицо его стало холодным и немного страшным.— Он... он что... тебя, свою сестру?

Амалия опустила глаза.

— Не надо так о нём. Стромынин добрый человек и... да, он мой брат. Он не хотел... этого всего, но я была вынуждена, я вела другую жизнь! И если тебе больно думать об этом...

— Нет! Всё ушло. Правда ведь? Правда?— и Величалин сжал её пальцы так, что Амалия поднялась на носочки.

— Да! Всё ушло. Клянусь тебе памятью своей матушки... и чем хочешь поклянусь. Ты должен

верить мне, что я не хочу... ах... — и она упала ему на грудь, перьями шляпки щекотнув его болезненно сжатые губы.

— Идём, я тотчас же познакомлю тебя с Женечкой.
— А... а если она... а Стромынин... он будет там?
— Нет, он приболел... прислал мне записку, что день-два отлежится... Воды, что ли, напился плохой.

И Михаил повлёк Амалию за собой, широко шагая и заставляя её семенить по мостовой маленькими ножками в вышитых жемчугом туфельках на французском каблуке.

Они вошли в гостиницу, там Михаил остановился посреди холла и поцеловал Амалию в губы при швейцаре и экономе, стоящем за стойкой.
— Впредь... если вы увидите эту милую женщину, то пускайте её ко мне, — сказал он с вызовом. — Это моя жена!

Швейцар и экомом кивнули, а Михаил и Амалия пошли дальше, к номерам.

— Зачем ты сместишь людей? — шёпотом спросила Амалия. — Они ведь меня знают...

— Пусть знают, что ты моя, — сказал Михаил победоносно.

Женечка и Дузе лежали на широкой софе, почти соприкасаясь головами, и играли в мелкие вырезанные из слоновьей кости шахматы. Михаил почти втащил Амалию.

— Женя! — крикнул он. — Это Амалия! Можешь называть её матерью. Я завтра женюсь на ней.

Женечка переглянулась с Дузе, который вскочил с софы и, подойдя, поцеловал руку.

— Вы не чахоточница? — спросил он с улыбкой.

Амалия беспомощно взглянула на Михаила.
— Нет! — ответила она ласково. — Я скорее по иностранным болезням. Но, к счастью, они пока обходят меня — наверное, боятся моей ядовитой крови.

Женечка встала и засмеялась. Она старалась прикрываться платочком, но от внезапности произошедшего даже заплакала.

— Ах! Очень приятно! Можете всё время, что вы с нами... будете... называть и меня дочерью... Шармант, папа! Ах, это папа! Он у меня всегда такой.

Михаил остановил её речь:
— Сейчас пообедаем внизу, и идите покупайте платье. Я не хочу ждать.

Женечка застыла.
— А... а... платье? — спросила она прерывисто. — Белое?

— Да!
— Для неё?

Михаил взглянул на побледневшую Амалию. Та задрожала и выбежала вон.

— Ах вы! Дузе! Скажи ей! — вскричал Михаил незнакомым голосом.

И помчался следом.
— Я не очень сильно понял... что с папа... но...
— Влюблён, — отрезал Дузе. — Придётся смириться.

Женечка всплеснула руками.

— Да! Пусть... моя судьба уже решена, а его решится... Лишь бы ему было хорошо.

В этих словах было столько детского неподдельного горя, что Дузе привлёк к себе Женечку как маленькую и как отец погладил её, покачивая в объятиях.

— Ах вы, моя девочка, Евгения Михайловна! Души моей царица! Вы выздоровеете... выйдете замуж... и что же, вашему папочке одному оставаться? Нет, конечно же, я должен был с вами раньше об этом поговорить... Или он не приводил никого?...
— Приводил... — жалко кивнула Женечка.

— Ну вот... сколько верёвочке ни виться, а конец то будет...

— Я рада за него.

— Вот и хорошо, вот и славненько... Идите поспите, а вечером пойдём гулять к морю.

Немало усилий приложила Амалия, чтобы уговорить Михаила Емельяновича не спешить со свадьбой. Наконец он согласился.

— Это будет выглядеть неправдоподобно... и никто не подумает о чистом сердце ни твоём, ни моём... Не будет у нас оправдания перед людьми... И перед нами самими!

— Но что мне люди? — повторял Михаил. — Я готов от них отречься.

Счастливые дни, во время которых Амалия так и отказалась переходить на житьё к Михаилу и дать Женечке время привыкнуть, поплыли на медовых волнах любви.

Михаил, Амалия, доктор Дузе, Стромынин и Женечка гуляли по берегу, по рощам, по лесной вырубке, где татары очищали место под виноградники Верхней Массандры, Дузе шёл как тень позади и радовался, глядя на Михаила Емельяновича и Амалию. И много думал о Женечке, которая вела себя очень сдержанно со Стромыниным. Даже не брала его под руку, когда он предлагал.

Дузе это видел. Отношение к Стромынину переменилось у всех. Стромынин взволнованно курил, видя, как болтают Амалия и Женечка о чём-то неприличном и порою Амалия отпускает в сторону Стромынина совершенно жуткие взгляды.

«Смерть тебе, Павел, конец всему. Уж я тебя... Вот я тебя!» — казалось в этих немых посланиях Стромынину.

Женечка же скомканно смеялась, сдержанно улыбалась и почти что не разговаривала на личные темы.

— Мы должны ещё раз увидеться на Дарсане, — чуть слышно говорил Стромынин, приближаясь к ней. — Зачем?... — улыбалась Женечка. — Для чего это?...
— Прошло десять дней... Я не могу спать, есть... у меня дрожат руки... Я сойду с ума и утоплюсь в море, — трепетал Стромынин, делал жалкие брови, и глаза его бегали.

— Не надо топиться. Я приду... Только не сегодня и не завтра. Давайте так... в пятницу. В пять вечера. — Что вы скажете им?..

— Я найду что сказать. А Дузе мне друг, он меня прикроет.

Стромынин ловил руку Женечки и подолгу шёл, держа её у сердца.

Амалия и Величалин держались за руки, Михаил переносил её через лужицы и камушки, смеялся приятным беззаботным смехом на каждое забавное замечание.

Тени ползли от низкорослых деревьев и жарких кустарников, тропинки осыпались, и Михаил часто переносил Амалию на руках. Стромынин подавал Женечке руку.

— Знаете, Павел, ведь если я сейчас куда-то исчезну, они не заметят... — шептала Женечка. — Я его не видела таким...

— Любовь покоряет нас независимо от возраста, — отвечал Стромынин и пытался как можно незаметнее обнять Женечку за талию, но та отпрыгивала, карабкалась по камням, приподняв платье, и Стромынин ухватывал и любовался её тонкими белыми ногами в плетённых из замшевых ремешков сандалиях.

— Женечка... нам надо бы уже домой... — окликивал всю компанию Дузе, видя, что они не собираются поворачивать с прогулки.

День клонился к закату... Аю-Даг покрывался дымкой и голубой поволокой, отдавая тепло морю.

— Я бы хотел свозить вас на Партенит... там есть руины храма, где служила Ифигения... Храм богини Девы... Артемиды... — приклонившись к Женечке, сказал Стромынин. — Вы же знаете, она уплыла оттуда в Афины... с главным идолом храма, и их даже не преследовал никто... Всем было очевидно... что это угодно богам.

— Нет там никаких руин. И к тому же Ифигения была невинна, — сказал Дузе, быстро перехватив Женечкин локоток. — Вам нельзя дальше, пусть они идут одни, я сопровожу вас домой.

Женечка кивнула, взглянула на Стромынина удивлённым взглядом и улыбнулась уголком рта.

Несомненно... Стромынин и Женечка были бы хорошей парой. Если бы.

Дузе видел все перемены, что происходили с Женечкой. Он знал её всю жизнь, неотлучно был с ней и привык к ней больше, чем Величалин. Тот работал и часто бывал в отъездах, да и Женечка не особенно хотела понимать отца. Она считала, что он живёт лишь для неё.

Сам Дузе посоветовал Женечке не ждать ветра с гор, а оглянуться вокруг и жить. Она и приняла это как лучший и ценнейший совет.

А меж тем Дузе заметил что-то, чего в Женечке раньше не могло быть и не могло быть вообще.

Она стала хорошо есть, порозовела, глаза её заблистали ещё больше.

Это был тревожный признак. Дузе много наблюдал за больными в санаториях, где он служил в первую пору молодости, когда только закончил учение и поступил в доктора. Больные в какой-то момент уставали от своей болезни, и жизнь их становилась необдуманной, скомканной и отчаянной. Кончалось всё плохо. Но Дузе дал себе время обождать и дожидаться, когда Женечка сама обратится к нему с вопросами.

«Не понимаю я эту молодёжь... Не понимаю вас! Вам столько дано! Молодость, кому-то и деньги, здоровье... И сколько в вас, молодых людях, упорства к желанию страдать, страсти к жалобам, бесконечное унылое сожаление о том, что тёмный ад с его демонами никак не забирает вас к себе и не спасает от тягот земных! Странно, страшно...» — думал Дузе, слушая Женечкины юношеские речи.

Особенно на неё повлияли сочинения барона Олшеври про вампиров, которые в те годы были на волне успеха.

Она жила в романтическом мире, как роза в хрустале. Любая попытка вытащить оттуда её закончилась бы трагично.

Стромынин, к его несомненным отличным качествам, имел и дурные пристрастия. А особенно чёрные мысли. Дузе видел его всего как на ладони.

На другое утро после прогулки в горах Дузе, чтобы прекратить свои домыслы, не находил места в своей маленькой комнатке. Он уже продумал наперёд всё, что только может случиться.

Но накануне Амалия осталась ночевать в номере «Лондона» из-за того, что поздно было ехать домой.

Её представил Михаил как учительницу грамматики, но Женечка, начитанная и с ясным умом, с блестящим умом и современными взглядами, воспитанными в ней Дузе, сразу же поняла, что учительство и Амалия несовместимы. Для учительницы она была слишком прекрасна.

Хорошенькая, светлая Женечка, с кудрями и рыжеватыми бровками, с посыпанным веснушками носиком, рядом с Амалией выглядела маленькой осенней звёздочкой, у которой отбирает свет полная Луна. Походка, осанка, каждый выверенный жест, каждый взгляд, каждое слово Амалии были необычайно царственны.

Дузе столкнулся в коридоре с половым, который нёс наверх записку от Стромынина.

— Дайте мне, я передам, — сказал Дузе и положил пятиалтынный половому в заскорузлую ладонь.

Удверей Женечки он помялся и постучал, после чего вошёл.

Она уже проснулась и сидела в кровати, держа на коленях серебряный поднос с сочниками и молоком.

— А, Теодор Карлович! Мне ночью было трудно дышать... в груди немного болело. Но уже отпустило.

Доктор пощупал пульс и лоб.

— Почему же вы сразу меня не позвали?

— Ночь была!

— Это ничего, знаете же...

— Но прошло же!

— А в другую такую ночь может и не пройти!

Женечка махнула рукой:

— Всё пустое. А эта дама у папеньки?

Губы её задрожали.

— Думаю, вам стоит смириться.

— Я уже смирилась. Пустое.

— Вам пишет Павел Леонардович. Вот письмо.

Женечка выхватила письмо из протянутой руки Дузе.

— Прочтите и мне, что он пишет. Я хотел бы вас предупредить против Павла Леонардовича, будьте осторожны и осмотрительны.

Женечка горько улыбнулась и сняла с коленей поднос с недопитым молоком.

— Вот... я... он предлагает мне выйти замуж. Я, конечно же, соглашусь. И никто мне не помешает... Я... я же могу выйти замуж?

Дузе опустил голову и покрутил в пальцах салфетку. На лице его читалось неподдельное участие. Даже щёки его зарозовели.

— Послушайте теперь меня, как доктора... Erstens (во-первых)... Замужество... это прежде всего дети... А дети... сами понимаете. Беременность убьёт вас. В вашем положении это невозможно, пока не начнётся ремиссион и вы не вылечитесь. Полностью. Слышите? Полностью. Zweitens (во-вторых)... Если же вы решились себя убить... то я не могу вам препятствовать. Могу только дать совет прежде подумать, потому что смерть... опять же в вашем положении... это неприятная процедура. Длительная, некрасивая и вовсе не романтическая. Наконец, in der Dritten und als Ergebnis (в-третьих и в результате)... Если же вы забеременеете и потом станете умирать вместе с не рождённым ребёнком во чреве, то уж извольте не ругать никого и не проклинать. Я вам говорил, это ваше решение, это ваша прихоть... Дорогая прихоть, но я её понимаю... Понимаю... так, как вы живёте... нельзя и вовсе жить.

Женечка закрыла лицо дрожащими руками и всхлинула.

— Ну же... Вы спросите... почему вы? Не спрашивайте... кому-то это должно быть уроком, ваше бытие. Значит, вы чей-то урок. И не надо грешить на Бога! Он всё делает верхним умом, а мы всё перекладываем на нижний, себе понятный язык... — Прочтите мне письмо, — прошептала Женечка, несколько раз вздрогнув.

— Я прочту... И да, чтобы я не забыл. Ещё неделю мы тут пробудем... Вы уже постарайтесь не

видеться со Стромьниным. Вас отвезём в санаторий, и Михайла Емельянович отбудет, а я буду с вами.

— А его дама?

— Она? Ну... если всё так, как он кричит на каждом перекрёстке, то придётся вам её принять... может быть, даже полюбить. Она добрая, славная. Не будьте к ней так расположены... Она может быть вашим другом. Лучшим.

— А Павел Леонардович что?

— Вот сейчас прочтём... если позволите.

— Читайте, но сохраните это в тайне.

Дузе развернул наодеколоненный листочек. Из него выпала веточка лаванды, которую Женечка тут же схватила и прижала к губам.

Стромьнин писал Женечке, что готов быть её рабом и не далее как в четверг на этой неделе приедет и сделает Величалиным визит с предложением руки и сердца.

Стромьнин умолял о встрече.

Женечка жалобно взглянула на Дузе.

— Встретьтесь с ним. Но будьте умницей и помните мои слова.

— Какие у меня возможности... вообще... жить? — спросила Женечка, дрожа.

— Их мало. Но они есть. И при спокойном и правильном подходе, нужном нам с вами... вы вылетите через год... Но в санатории.

— Год! — застонала Женечка. — Через год он уже думать забудет обо мне!

— Но он же говорит, что любит... А любовь никуда не денется за год, уж поверьте!

Женечка немного успокоилась. Стромьнин же не находил себе места. Он метался. Мысли его были похожи на запутанный клубок, чего раньше с ним никогда не было. Наконец он поехал в гостиницу, в тот самый номер, где встретился с Женечкой впервые, и заперся там, сказавшись больным. Женечка должна была его пожалеть. Письмо о своей болезни он отослал и ждал её незамедлительно.

Но Дузе, хорошо понимая, что Амалия и Павел Леонардович родственники, сразу же после разговора с Женечкой пошёл к ней в апартаменты.

Там же завтракал и Величалин. Они смеялись, обсуждая какие-то местные новости, сидя за круглым столом, покрытым голубой кружевной скатертью, и тихонько переговаривались через огромный розовый букет кремовых чайных роз, благоухающих на всю комнату. Амалия, в свободной блузе и английской юбке, была чудо как прелестна.

— У меня к вам вопрос... — сразу начал Дузе. — А вы, Амалия, тем более послушайте внимательно. В наших руках... выходит... жизнь Женечки.

И Дузе начал тяжёлый разговор, присев на краешек тахты.

Женечка, получив письмо с прошением явиться, ещё некоторое время приходила в себя. Она не могла заставить себя встать и умыться. Лежала пластом и слушала шум разгулявшегося моря.

На улице потемнело, моросил тёплый дождь. Но этот дождь бы скоро прошёл, она знала. От «Лондона» до гостиницы «Ялта» совсем недалеко. Нужно бежать. И Женечка, одевшись наскоро и плеснув в лицо воды из умывальника, в душе поблагодарила отца, что он ещё не приставил к ней какую-нибудь девушку, чтобы помогала с платьем и причёсками. В Москве было другое дело, там за ней бегала толпа прислуги. А тут один только Дузе.

Женечка тихо вышла из комнаты, спустилась вниз, накинув вуаль, и, выйдя на мостовую, побежала за угол улицы, перемахнула проулок и приблизилась к каменной лестнице, ведущей на Дарсановскую.

Нечего было ждать. И незачем. Решить — так сразу. Стромынину нужно дать последний ответ... Но почему она не может в последний раз побыть счастливой? Что этому мешает?... Сейчас же кинутся все её искать и обнаружат отсутствие, но за это время она добежит до «Ялты», и они встретятся. Пусть тогда ищут!

Женечка, думая и волнуясь, отчего у неё начался кашель, поднялась по лестнице, стараясь реже вдыхать и выдыхать. Это помогло, но сердце стучало бешено. Она, пытаясь не попадать под морось дождя, иногда начинавшегося с новой силой, прикрывала спину плащиком и шла дальше.

Наконец чуть облезшая голубая «Ялта», швейцар...

— Я к Павлу Леонардовичу Стромынину... в шестой номер.

Её пропускают, она бежит по коридору, вот тот самый номер... Дверь...

Стромынин, услышав её шаги, идёт навстречу. Нет, нет... говорить не надо... молчание скажет всё...

Михаил, Амалия и Дузе говорили около часа. В это время Женечка ушла. Величалин был уверен, что она спит и что не стоит её беспокоить в расстроенных её чувствах, поэтому послал Амалию к ней только через три часа — посмотреть, всё ли хорошо. Амалия толкнула дверь и вошла, но на разобранной кровати валялось лишь несколько платьев, вытащенных из шкафа, да впопыхах забытое на трюмо письмо Стромынина.

Амалия тут же бросилась читать его.

«Милая Евгения Михайловна, душа моя! Вы доводите меня до смерти, чая, что и вас там заждались. Вы хотите и меня утащить в Аид, не правда ли? В жестокости я вас не виню! Но послушайте и мои несчастные доводы по поводу этого нашего дела. Да, мы можем уехать вместе, и ваш папа, совершенно занятый моей ушедшей сестрицей,

не станет потом нас искать. Поверьте, мы тотчас же обвенчаемся где захотите, хоть в стороне Севастополя, хоть в Симферополе, хоть не отъезжая далеко, тут вот, в Ореанде или Мисхоре... А хотите, так на Форосе?

Вы мне сказали, что хотите прекратить мои ухаживания? Извольте! Так вы можете сделать, но этим вы и причините мне мою смерть. Легче мне, чтоб вы выпили кровь мою и сами удовольствовались моей перелившейся в вас силой новой, чем бросили бы меня без надежд. А что там ваш папенька, то он сейчас занят моей сестрой. Да, она прекрасная, но и что? Она женщина, испытанная жизнью, хоть как-то я её и пытался устроить... но она его игрушка на время, а вы мне будете жена — НАВСЕГДА! Приходите, пока я жив и ещё жажду ласк ваших, ведь в этот раз всё будет изрядно лучше, чем в тот... Простите меня сразу... и сожгите это письмо на свече. Ваш Павел. Всегда ваш муж, любящий вас нежно и безумно».

— Ах, подлец! — вскрикнула даже Амалия в сердцах и, свернув письмо, спрятала его на груди. — Вот ты и воюешь против меня... брат мой... Да осилишь ли? Не тебе той кукушкой быть!

Амалия прибралась в комнату, повесила платья в шкаф, и в ту же минуту вошёл Величалин.

— А... где... Женечка? — спросил он бессильно, и пот выступил у него на лбу.

— У Стромынина.

— Ах, я знал, что упустил... её...

Михаил упал на кровать и схватил себя за волосы.

— Но он же! Он же понимает!

— Ничего он не понимает. Этот человек ничего не понимает. И он... может всё погубить. Нас, тебя, меня, её... Всё. К счастью, он пока не догадывается, что ты что-то знаешь, и ты не говори. Я с Женечкой всё решу. Я всё ей расскажу... Она поймёт. И Стромынин... будет... раздавлен. Он другого теперь не заслуживает.

Дузе ошибался насчёт тяжести Женечкиного диагноза. Она, конечно, была больна, но болезнь её считалась ещё «верхушечной», то есть она могла бы ещё жить много лет, а потом умерла бы, если бы не лечилась. Более того, Женечка отлично бы вылечила свою чухотку, ведь в скором времени открыли антибиотики, да и молодой организм помог бы.

Но вся истерия, развязанная вокруг неё, дикий страх Величалина, странное отношение Стромынина и вмешательство Амалии повернули её жизнь совершенно в другую сторону. Женечка уже чувствовала себя обречённой. Она уже на всякий случай простилась с жизнью и не готова была теперь расстаться с мыслью, что романтически умрёт. Хотя умирать она вовсе не собиралась.

Она лежала в постели Стромынина, который был хорош, как белый свет; в окна прищуривалось

из облаков солнце. Женечка, словно осиновый лист, вздрагивала от каждого поцелуя, словно он обжигал её, прижимала к себе голову Стромынина и горячо шептала какие-то глупые девичьи слова, от которых у Стромынина кровь в жилах стыла.

Наконец, утомившись и уснув, они совершенно забыли о Величалине, докторе и Амалии, о городе, подарившем им друг друга, о том, что лето перепорхнуло в осенний сезон, как новорождённая бабочка, и жить им осталось, может быть, совсем чуть-чуть, как теплу перед тем, как придут морозы и волны приветливого моря осипнут от дождей и ноябрьских штормов, выбрасывая стеклянные водоросли на оснежённый и безлюдный пляж.

Солнце разбудило их только следующим утром.

Женечка в ужасе проснулась и, увидав спящего Стромынина рядом, заплакала, перебирая его волосы, накинутые на глаза.

Он тоже проснулся, улыбнулся грустно и сказал: — Гутен морген, майн либе Женечка. Надеюсь, меня не убьют за вас.

Женечка судорожно сжала ему руку. — Вы боитесь за себя? А я боюсь за нас обоих. Ужасно, ужасно боюсь.

— Поедьте вместе... я... и вы... Я скажу, что вы были со мной, что мы были вместе и уже давно муж и жена. Как? А?

Женечка замотала головой и закашляла.

— О Боже мой! Нет, не делайте этого! Мы погибнем.

— А... — протянул Стромынин. — Тогда скажите, что вас похитили через окошко и увезли на пиратском судне в Турцию, но решили вернуться с полпути, потому что вы очень беспокоились, что оставили дома свою шляпную картонку с фотографическими карточками обнажённых дам и потрёпанной книжицей Мопассана.

— Глупый! — засмеялась Женечка, но смех её снова сменился кашлем.

Женечка закашлялась, покраснела, на висках её набухли вены, и она скрылась в ванной.

Стромынин около пяти минут слушал её кашель и только после, когда на смену ему пришёл звук падающей воды, вошёл в ванную.

Женечка быстро смывала кровь с ободка мраморной раковины. Плечи её содрогались.

— Вот... лучше нам всё-таки поехать вместе...

Стромынин не успел договорить. Женечка, схватившись за край раковины, упала без чувств.

Амалия, Дузе и Величалин не сходили с балкона, выглядывая по очереди Женечку. Они решили обождать сутки-двое, ибо Стромынина на дачах не оказалось, куда сам верхом ездил Михаил Емельянович. Амалия и молодая Аннушка, её прислуга, которая теперь переехала в «Лондон» вместе с хозяйкой, всю ночь не спали, дежуря на балконе.

Они первые и увидели коляску, из которой Стромынин вынес бесчувственную Женечку.

Михаил готов был убить его. Но он сдержался и не вышел на улицу.

Стромынина в гостиницу не пустили. Женечку принял Дузе, и он же поднял её в номер, откуда сразу же послали за доктором Виноградовым.

Женечка была не в себе, Амалия стирала с неё пот и колола лёд, постоянно накладывая его на грудь Женечки.

Доктор Виноградов долго осматривал больную, выгнав плачущего Величалина за дверь.

Он и Амалия сидели снова на балконе, под которым стоял Стромынин и прислушивался ко всему, что мог услышать.

Михаил, увидав его, перевесился через кованую решётку и крикнул:

— Стромынин, чёрт тебя возьми! Сделай так, чтобы я искал тебя и не нашёл!

Но тот стоял как вкопанный под палящим солнцем.

— Правда, Павел Леонардович, идите! — крикнула Амалия, отгаскивая Михаила назад, в комнаты. — Идите, не то будет беда!

Стромынин словно и ждал беды.

Через четверть часа Аннушка вынесла записку от Амалии: «Женечка поедет в санаторий, а вам лучше убраться прочь. Уезжайте из города, Михаил очень зол на вас. Женечке лучше. Но вам лучше уехать, умоляю вас!»

Стромынин прочитал записку.

— Что барыне передать? — спросила Аннушка, отплевываясь тыквенными семечками. — Али ничего?

— Скажите им, что я не уеду. Пока Женечка не придёт в себя, я не тронусь с места, а паспорт Амалии у меня. И она никуда не уедет дальше Ялты. Тем более что я сделаю так, что она не сможет спокойно жить в Москве, если будет мне препятствовать встретиться с Женечкой и объясниться с Величалиным. Я не многого прошу. В воскресенье я буду у них. Запомнила?

— Да! — весело ответила Аннушка.

— Что же ты запомнила? — сквозь зубы процедил Стромынин. — Всё ли?

— Да, всё! Скажу, что вы шантажник, и документы барыни у вас, да что в воскресенье будете у них. С документами. Штоб в глаза их бесстыжие посмотреть.

— Ну... так не говори. Про бесстыжие глаза.

Стромынин перевёл взгляд на балкон. Амалия, с заколотыми волосами и в розовом новом платье, сама похожая на впусщённый ветром розан, стояла на балконе одна и смотрела на него безотрывно.

Стромынин схватил Аннушку за шею, поцеловал её в щёки и, отпустив, погрозил пальцем Амалии. Та не пошевелилась. Стромынин приподнял шляпу, рот его задёргался, брови сошлись на переносице, он в два прыжка пересёк мостовую и исчез за поворотом улицы.

Женечку наблюдали доктора из клиники Альтшуллера, и на следующий день Дузе сообщил Величалину, что необходимо вернуться в Москву для проведения пневмоторакса и дальнейшего отбытия в Германию.

— Иначе всё будет очень худо.

Величалин выслушал Дузе и ушёл на берег. Он долго не возвращался. Амалия побежала искать его. Михаил сидел на том месте, где они обычно дышали воздухом с Женечкой, и курил. Судя по красным глазам, можно было угадать, что он плакал.

Амалия, шурша камешками, подошла к нему и села рядом на деревянную скамью.

Величалин смотрел в море, где вдаль виднелись белые коробочки пароходов с отрывающимися пушками дыма, остающегося позади коротким, не длиннее папиросы, следом.

На берегу почти никого не было. Отдыхающие в основном выехали по домам. А несколько дождливых последних дней августа и вовсе напугали людей. Спешно собирались и отбывали надышавшиеся ялтинским воздухом господа и дамы.

Некоторое время Амалия и Величалин сидели молча.

— Вы читали тот отрывок в «Даме с собачкой» сочинителя Чехова, где двое сидят около храма в Ореанде и молчат?... — наконец вкрадчиво сказала Амалия. — Мы сейчас так же сидим и молчим...

Величалин не отвечал. Амалия, взволнованная, покусывала губку и перебирала платье, словно хотела выгладить руками то, что случайно, по её мнению, казалось ей измятым и недостаточно ровным и гладким.

— Я не люблю вашего Чехова. Зная, как он жил, всё во мне переворачивается... а зная, как он умирал, — тем более. Ведь я очень хорошо знаю, как он умирал, одна из моих... знакомых играла с Книппершей на одной сцене. Та наговорила с три короба... лишь бы ей простили её холодность к мужу. Плохие жёны, несомненно, являются причиной наших несчастий, — заговорил Величалин как будто с кафедры.

Амалия посмотрела на него с улыбкой.

— Но ведь подобное притягивает подобное... — сказала она мягко.

Михаил взглянул на неё отрешённым взглядом. — Я не успел вырастить доброе... по отношению к вам... ростки его нарушены. Всё будто бы поглотила моя вина... что я себе позволил... непозволительное. И тем самым обрёл Женечку на худое. Поймите меня и простите... Но это чувство стократ сильнее того, что я испытываю к вам.

Амалия отвернула лицо к морю. Она больше жадно не искала взгляда Величалина.

— Вы ещё будете счастливы... — сказал он прохладно, починая новую папиросу «Талисман».

— Я знала, что так и будет, — ответила Амалия отрывисто. — Ничего другого... я и не ожидала от вас... однако же согласилась... на... на всё. Неужели даже надежды у меня нет?..

Михаил молчал, курил и пускал дым на сторону. Он ещё не знал, что говорить. Важного бы всё равно не смог, а пустое молоть не хотел.

Амалия, так и не дождавшись ответа, встала и, чуть покачиваясь, тыкая сложенным зонтиком в камни, пошла назад, к лестнице, ведущей на набережную.

Михаил боялся смотреть ей вслед. Он закрыл лицо картузом и силясь не зарыдать, но слёзы всё равно выкатились из глаз. Но гул моря подхватил его рыдание, сбил его и спугал с другими голосами побережья.

Когда он вернулся, разбитый и потерянный, никого не было дома. Дузе отвёз Женечку к Альтшуллеру и оставил записку, чтобы Михаил ото-спался и приезжал к ней наутро.

Амалии и Аннушки тоже не было. Насовсем они ушли или на некоторое время, Михаил был не в силах выяснять. Он упал на неразобранную кровать как был, одетый, и забылся сном.

К вечеру он проснулся от какого-то шуршания. На улице стемнело по-южному скоро и тяжело. Только газовые фонари светились круглыми плафонами, и их неяркий свет чуть освещал комнату.

Однако на комодe горела лампа, и тонкая фигурка Амалии, одетой в серое простое платье с белым круглым воротничком, суетилась у шкафа, перегружая платья в чемоданчик.

— Амалия... — сказал Михаил. — Я уж испугался... что ты... что вы... ушли.

— Вот! Уже на «вы»... Спице... отдохайте. Доктор Дузе попросил меня привезти Женечке вещи, и я их собираю.

— Как... она?

— Ничего, почти уже хорошо. Про Стромынина я ей рассказала. Она всё знает. И если он... придёт к вам... гоните его в шею. Лучше даже не открывайте дверь.

— А как же Женечка-то... переживёт?... — вздохнул Величалин, так и не найдя сил привстать с кровати. — И вы... почему ко мне? А к вам как же?

Амалия в сердцах бросила рубашки на постель.

— А я уезжаю в свою Нижнюю Аутку. Там я буду работать... учительницей... и спокойно жить без вас!

Михаил чуть заметно поднял брови:

— Ой ли... такой я, скажете тоже... дурной человек...

— Не стоило бы мне с вами тут разговаривать!

— Скажете тоже!

— Вы сами мне всё сказали! Ваши речи не умнее путеводителя Безчинского! Налейте на темечко

пресной воды! Ешьте мясной виноград! Обложитесь грязью и не преминайте тут же лечь! Вот ваша речь. И Чехова вы не любите.

— Да кто ж его любит?!

— Я люблю! Нашли тоже... трёхдневную бабочку и думаете, что я позарюсь на ваши миллионы! Вот ещё! Нужны вы мне!

Амалия, совершенно придя в суету, не замечала, как Михаил тихонько встал и крадётся к ней по комнате, прикрытый полумраком и не достигаемый светом лампы.

Наконец он почти вплотную подошёл.

— И я была глупой девчонкой! Всё у меня бы сейчас было, а я не удержала! Была бы генеральшей! Сейчас уже ездил бы сюда как барыня, а не как содержанка. Беда моя в том, что головой я никогда не думаю, а только сердце как зайдётся, так и всё пропало... И тут опять! Да чтоб его! Какая уже разница, где мне жить и где работать?! Чехова он не любит! Да он, чтобы вы понимали, ещё не открыт нам и, возможно, и через сто лет...

Михаил, скинув с плеч подтяжки и сделав ныряющее движение, вдруг перехватил Амалию за талию и закрыл ей рот поцелуем.

Она, конечно, только ради приличия надавала ему пощёчин, но, к слову сказать, каждая из них для него была как удар напудренной пуховки по щеке модницы.

В то же самое время Стромьнин сидел на полу с бутылкой «Ореанды» и пытался не напиться от раздражающего его голову плана. Он планировал похитить Женечку, отвезти её в лес, куда-нибудь в сторону Евпатории, может быть, на Мойнаки, где был хороший санаторий для разных больных и слабогрудых тоже, или в Севастополь, где они бы поселились за Каламитой в маленькой татарской деревушке и он ждал бы её выздоровления, отпаивая её кумысом и кефиром...

Он бы приносил ей золотые ягоды шасля на подносе, и она бы так скорее вылечилась. Ведь там родина шасли...

Или нанял бы мажару с буйволами, и их бы подняли на вершину Бабуган-яйлы, чтобы оттуда в серебристом утреннем сквозящем воздухе показать ей очертание Роман-Коша...

Никогда этого не будет!

А это басня про храм Девы и Ифигении, пожалейшей пришельцев... поднявшей руку на само изображение богини!

А разве Женечка не могла бы спасти и его ценою собственной жизни?..

Стромьнин перекрутил в голове Ифигению и каламитских татар, и воспоминания о том часе, когда Женечка забрасывала голову, подставляя свою тонкую прозрачную шею под его поцелуи, каждую жилку которой он помнил, и ту быющуюся всё быстрее и быстрее синюю вену, и её слабые,

но такие лёгкие руки, внезапно обретающие силу и обвивающие его в последнем объятии... И вампиров, которых обожала она и всё время просила выпить его горячей крови. «От горячей крови я сразу исцелюсь...» — шептала Женечка, прикусывая Стромьнину запястье мелкими острыми зубками.

Пройдёт время, и ничего этого уже совсем не будет, даже в памяти...

Стромьнин проникал взглядом сквозь годы, как пройдут они и он, старик с седой бородой, как-нибудь увидит на улицах Ялты её... А она будет также старухой, с каким-то усатым господином с многоэтажным подбородком и в шляпе-котелке, если, конечно, к тому времени ещё останутся такие шляпы...

А Амалия! Да, о ней он думал меньше всего. Она и Величалин... по его же воле сошлись, и плевать, что с ними будет. Конечно, Амалия хитрая, умная... но она за всё заплатит. Только... за что она должна платить? За глупость своего брата?

Стромьнин плеснул «Десертного» в бокал «Ореанды». Он знал, что назавтра, вероятно, не встанет, вот и хорошо! Пусть они уедут, а он решительно отказывается и от Женечки, и от Амалии. А дачу её он подожжёт! Пусть будет так!

Стромьнин даже крикнул:

— Пусть будет так!

Испугался своего вскрика, упал на пол и лежал, глядя на серые облака паутины вверху, свисающие вниз чёрными трепещущими кисеями. Время вылечит всё... Всё проходит...

Но, несмотря на то, что Стромьнин накануне напился и страдал от головной боли, он всё равно сбегал к «Фердинанду» сделать причёску и постричь усыки.

Раннее утро пробудило ещё только булочников и парикмахеров. Солнце скромно шурилось из-за моря.

Стромьнин, набриолиненный и надушенный, бродил по тенистой свежей набережной, оставившаяся иногда под платанами или пихтами, промокал платочком лоб и шёл дальше.

Так он дошёл до «Лондона» и сразу же бросил взгляд на знакомый балкон, который теперь был закрыт.

Стромьнин вошёл в холл. К нему подбежал портье с сильно закрученными усами.

— Честь имею доложить о вас? — спросил он. — Вы с багажом?

Стромьнин смерил его уничтожающим взглядом.

— Доложите господину Величалину, что господин Стромьнин ожидает его в холле.

— Господин Величалин изволил вчера-с выехать.

Стромьнин побледнел.

— Как? Вчера же воскресенье!

— Никак нет-с! Вчера-с понедельник-с. Господин Величалин с доктором и барышнями уехали-с. Вот, можете спросить у эконома...

Стромынин, обернувшись, выбежал из гостиной. Он не слышал, как следом ему что-то крикнул портъе, глаза его наполнились туманом, и он не видел, куда идёт; он метнулся к берегу, но берег ещё был пуст, и только из купален доносилось зычное: «Ах-х ты, ядр-р-рёна вошь!»

Стромынин поймал извозчика и приказал ехать на дачу Чекалиной. От тряски несколько раз оставались. Он сползал с сидений и удалялся в кусты. Извозчик улыбался в бороду:

— Пили, ваше блродие? Небось асадру с реяндой помещивали?

— Так... — стонал Стромынин. — Войну делал...

— Надо б вам угля поестъ берёзового.

— Пройдёт...

Вскоре доехали до дачных угодий.

Стромынин подбежал к знакомой калитке, где он так недавно стоял, вызывая Амалию для Величалина.

Но на крылечке дома стояли чемоданы, бегал кудрявый малыш, собирая упавшие нежно-розовые цветки альбиции по дорожкам.

У Стромынина перехватило дыхание.

— Едем назад, в «Лондон»! — крикнул он извозчику.

Пока доехали, бешенство и гнев Стромынина сменились на оцепенение, сомнамбулическое состояние. Он успокоился и вошёл в «Лондон» уже спокойно.

Его увидели и подошли. Это уже был швейцар в тёмно-красной ливрее с серебряным галуном.

— Ваше благородие... — громко сказал он. — Хорошо, что вернулись!

— Документы... — хрипло сказал Стромынин. — Куда они поехали?

— Не изволим знать, — был ответ.

— Хорошо... — вздохнул судорожно Стромынин. — Тогда что... полиция нужна... потому что...

— Вот вам письмо, — перебил его швейцар. — От ихней барышни. За два рубля меня просила отдать только вам.

Стромынин сонно протянул руку в белой перчатке к квадратному конверту, пахнущему Женечкой.

Он кивнул, что-то пробубнив себе под нос, вышел, перешёл на другую сторону дороги, доковылял до пляжа и сел под зонтики кафетерия Эйнемов, где покупал Женечке сладости.

Солнце сразу же облило спящий листок с ровным гимназическим почерком.

«Мой Павел Леонардович! Всё, слава Богу, закончилось, волноваться мне нельзя, но я всё же волнуясь. Вы остаётесь в неведении по поводу моего положения, но я-то его знаю уже отлично, как не знает пока что никто. Смерть или жизнь оно доставит мне, тоже пока что неясно, однако

утешьтесь. Я разобралась в себе и не любила вас. Я не любила вас, живите дальше. Ваша Евгения».

Стромынин долго перечитывал это письмо. Он взглядывал то в письмо, то на море, то на небо, то снова прикасался к письму, то нюхал его, пытаясь в последний раз физически ощутить близость потерянного им навсегда счастья.

Эпилог

— А мы называли бархатным сезоном совсем другое время, — сказал старик, роясь в деревянном ящике. — Весна это была... И отдыхающие как раз ещё не купались... Холодно было купаться. Помните, мрамора было поменьше, дома пониже... навоз пожиже...

Хорошо одетый седовласый человек, с правильными чертами лица, с бледно-зелёными глазами, рассмеялся.

— Так до революции всё было покрепче. Мне отец рассказывал.

— Д-да... что-то и хорошее было, наверное. Адрес диктуйте.

— Ах да... Москва, улица Достоевского, дом шесть, квартира пятьдесят четыре, Величалиной Амалии Леонардовне, — сказал чётко седовласый и добавил: — Думаю, доспеет в дороге... я совсем зелёный купил, а мать инжир обожает. Напишите «хрупко».

Старик, окунув перо в чернильницу, замер.

— Старенькая уже... наверное, ваша матушка? — спросил он дребезжащим голосом.

— О да! Но я ей неродной, я сын её приёмной дочки... Та умерла ещё до революции... Немного не дожила... вылечилась бы... От чахотки умерла. Отца приёмного расстреляли перед войной... враждебный элемент... А она в его доме жила, в уголку практически. Ну и я с ней. Правда, я выучился и даже в министерстве внешней торговли работал. Да это всё на самом деле дела давно минувших дней, так сказать.

— А у самого семья есть?.. Устроился?

— А, да! Конечно! Жена, два сына и дочь. Мы смелые! Трое у меня!

— Славно... Сколько же им?

— Сынам шесть и десять, дочке четыре года всего. Так сколько, говорите, до Москвы будет идти?

— Две недели.

— Доспеет в дороге?

— Доспеет! Придёт в кондиции.

Седовласый полез в кошелёк за деньгами, а старик за почтовым прилавком пристально смотрел на него через очки. Он хотел что-то сказать, но не смог.

Разогрел сургуч, перемотал фанерный ящичек верёвкой и приложил коричневую лепёшку на место узелка.

— Благодарю вас! — весело сказал седовласый и, кивнув головой, вышел через стеклянную дверь почты.

Старик ещё долго смотрел на дверь, но не мог встать и побежать следом. Работал он на почте уже семнадцать лет. В войну потерял обе ноги, и на работу его привозила в детской коляске дочка соседа. У него самого не было семьи, он объяснял это одной фразой: «Что заслужил, то и получил».

В выходные он сидел под деревом в крохотном дворе и, мурлыча себе под нос любимую песню про

вьюн, строгал из чурбачков деревянные лошадоки. Так Павел Леонардович Стромынин и умер, не доделав два колёсика для новой игрушки.

В коробе с игрушками нашли его завещание — послать их внукам на московский адрес, а в чайной жестянке — потрёпанное по углам, пожелтевшее письмо Женечки и книжку барона Олшеври 1912 года издания.